



Переплет по рисунку худ. А. Радищева.
Ответств. редактор М. Гус. Тех. редактор М. Терюшин.
Корректор В. Лебедев.

Уполн. Главлита № Б 7413. Тираж 10000. С. П. № 35. Сдана в производство
29 декабря 1936 г. Подписано к печати 14 февраля 1937 г. Бумага 82×110¹/₂ в.
Печати. лист. 9. Авт. л. 6,93. Кол. зн. в печати. листе 31484.

Полиграф, город Горький, ул. Фигнер, 32. Заказ № 9503.

Цена 2 р. 25 к., переплет 1 р. 25 к.

Виктор Шкловский

ЗАМЕТКИ О ПРОЗЕ ПУШКИНА

*Советский писатель
Москва 1937*

Distributed by:
Russian Language Specialties
Post Office Box 711
Pullman, Michigan 49450

16-1-1

55

ВСТУПЛЕНИЕ

Последние издания сочинений Пушкина дают нам сводку всего того нового, что сделано в расшифровке пушкинских текстов.

Нового сделано много, в частности иначе сейчас выглядит пушкинская проза.

Появление черновиков и планов, тщательная расшифровка набросков неосуществленных вещей позволяют нам увидеть прозу Пушкина в процессе ее развития.

К сожалению, новые издания не вызвали ряда теоретических статей, которых они заслуживают.

Изучение Пушкина у нас часто заменяется работами по датировке его произведений.

История сменяется хронологией.

Мне пришлось близко видеть работу Маяковского, видеть, что такое поэтическая заготовка, узнать, как долго живет поэтический образ до окончательного его воплощения, и мне кажется, что датировать можно только рукопись, а не стихотворение.

Можно подумать сейчас, что наши пушкинисты стоят на точке зрения Шопенгауэра, по мнению которого историк должен распределять факты только по времени их совершения, а не по их содержанию.

Таким образом в научно-исторической работе своей наши пушкинисты должны считаться последовательными пессимистами...

Текстологические работы, текстологические радости не всегда похожи на те ощущения, с которыми созданы вещи.

Документ дает иллюзию точности и однопланности своего содержания.

В книге своей „Архаисты и новаторы“ Юрий Тынянов показал многопланность пушкинской лирики.

Литературные произведения создаются не из слов, а из мыслей и понятий.

Пушкин расширял воздействие своих стихов, увеличивал их смысловую значимость, вызывая словами целый ряд ассоциаций, которые осмысливались читателем неоднократно.

Пушкин начал свою поэтическую работу, пользуясь в стихах закрепленными и по-своему широкими образами — мифами классической литературы.

Сады, в которых гулял Пушкин, были полны статуями и памятниками.

Эмблемы истории и мифологии жили в стихах Пушкина.

Его вещи были написаны в эпоху торжества басни.

В его эпоху помолодел и стал злободневным жанр Крылова.

Пушкин работал намеком в „Евгении Онегине“, в „Путешествии в Арзрум“.

Пушкинистский документализм, текстология невольно сужают Пушкина.

Они делают его вновь подцензурным, между тем Пушкин шел вместе со своим народом, а не вместе со своими соседями по имению.

Я попытаюсь в своей работе показать пушкинскую прозу.

Работа моя ничего не исчерпает.

Я не удивлюсь, если в ней будут ошибки.

Мне грустно видеть так мало писателей вокруг имени Пушкина.

Пушкин жил и умирал не среди библиографов.

На прошлых юбилеях спорили Достоевский, Тургенев.

Несколько лет тому назад о Пушкине писали Блок, Брюсов и Маяковский.

Я не вижу современных поэтов, не вижу прозаиков в живой работе вокруг Пушкина.

Беллетристам отведена биография, но настоящая биография Пушкина — его стихи.

Пушкин — наш современник: его, как человека будущего, воспринимал Гоголь, который говорил, что Пушкин — это русский человек в конечном его развитии.

Пушкин был писателем демократическим.

На письма он отвечал.

Мне кажется, что о нем имеют право писать даже те, которые занимались историей литературы, а не пушкинизмом.

Пушкинизм в некоторых частях своих напоминает мне суды, описанные Диккенсом.

Как известно, английское законодательство все основано на прецедентах.

Чрезвычайно трудно овладеть всей этой суммой справок, нигде не сведенных и обычно противоречивых.

О трех книгах, из которых Пушкин брал песенные эпиграфы для „Капитанской дочки“, написано около 20 статей и заметок.

Первоисточник здесь проще и интересней.

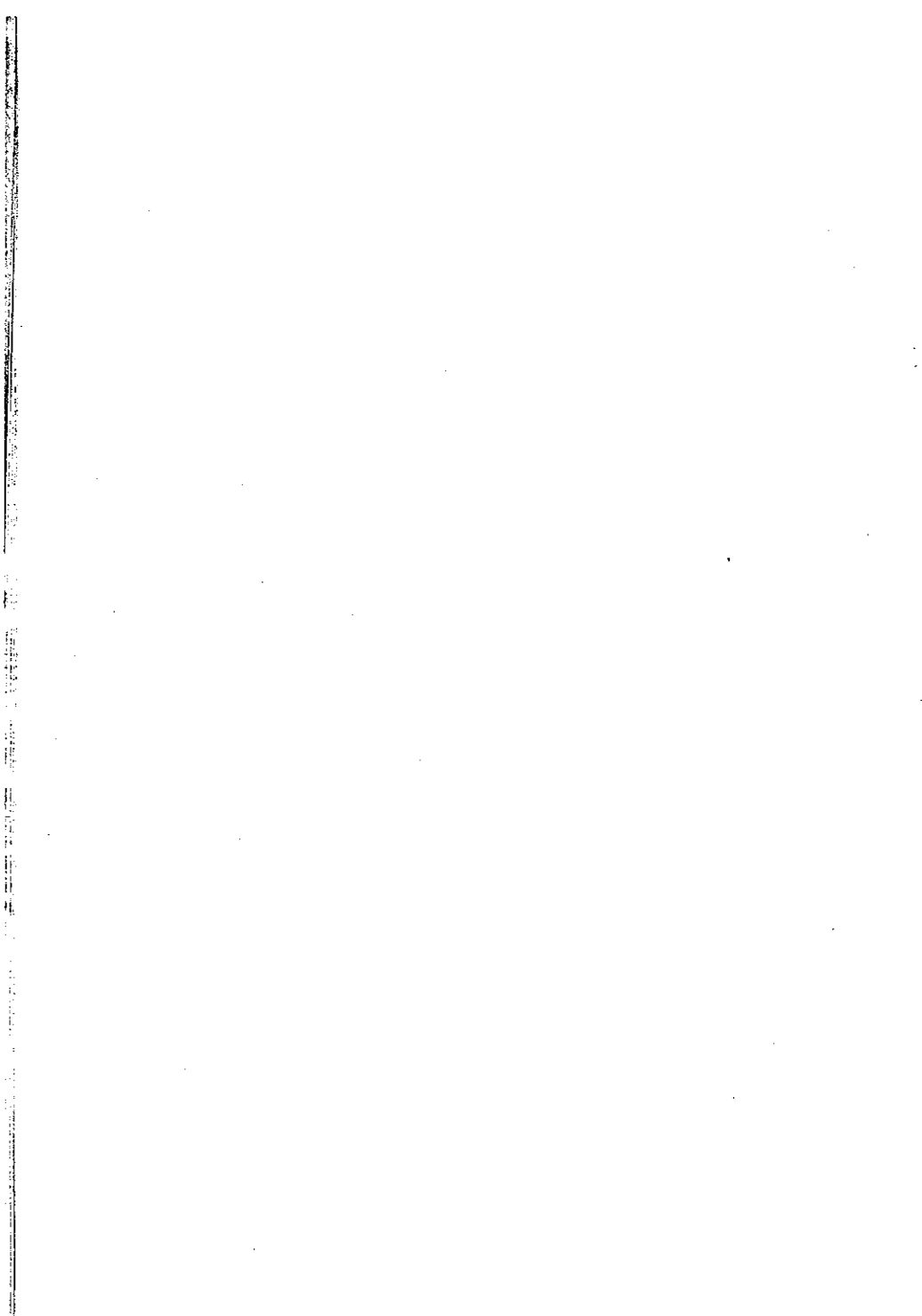
Цусима, которую потерпели наши пушкинисты, объясняется неправильностью их работ, отрывом работы над писателем от литературной жизни.

Сама по себе работа над текстами, конечно, нужна, но ведь и она еще не сделана, особенно не сделана в прозе.

Скучно в диккенсовском судилище, дела в нем идут медленно, как академические издания, и во время прохождения дела оказывается, что весь капитал уже истрачен на судебные пошлины.

А ведь сейчас у нас юбилей не пушкинизма, а Пушкина.

Поэтому я собираю в книгу свои статьи о Пушкине. Это статьи беллетриста и журналиста.



ОДА „ВОЛЬНОСТЬ“

I

Не надо думать, что самый главный Пушкин — это Пушкин, вновь напечатанный.

Вновь найденные поэмы Пушкина любопытны.

А вновь предлагаемые способы чтения старых стихов сужают поэта, меняют его читательскую судьбу, отнимают что-то от нас.

Я говорю об оде „Вольность“, которую называют также „Свобода“.

Заметка, которую вы читаете, это еще предисловие.

Прежде чем приступить к статье, я должен оправдаться. Я попытаюсь в ней защищаться чужими для меня методами, потому что я хочу быть понятным и теми людьми, которые сейчас толкуют по-новому Пушкина.

Поэтому, прежде всего, я напоминаю им о том, что для Пушкина имя Наполеона было связано не только с именем Петра, но и с именем Робеспьера.

Я скажу наперед, что Пушкин к концу своей жизни связывал еще три имени — Петр, Разин, Пугачев.

Теперь будем говорить об оде „Вольность“.

В своих воспоминаниях Ф. Ф. Вигель так описывает создание этого стихотворения:

„Из людей, которые были старше его, всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых. Они жили

на Фонтанке, прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный, и к ним, то есть к меньшому, Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой, тогда забвению брошенный дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи. Он по матери происходил от араба, генерала Ганнибала, и гибкостью членов, быстротой телодвижений несколько походил на негров и на чело-векоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать. Стихи были хороши, но не превосходны... Окончив, он показал их, и, не знаю почему, назвал их одой на „Свободу“. Об этом экспромте скоро забыли, и сомневаюсь, чтоб он много ходил по рукам. Ничего другого в либеральном духе Пушкин не писал еще тогда“ („Воспоминания Вигеля“, т. III, М., 1866, стр. 84).

Ода была записана Пушкиным при допросе, и на беловом автографе он поставил на ней дату — 1817 г.

Восьмая строфа этой оды особенно знаменита:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.

(А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в шести томах, 3-е изд., Госуд. изд. «Художественная литература», М.—Л., 1935, т. I, стр. 292.)

Эта строфа всегда воспринималась как обращение к российскому императору.

На одном из заседаний Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности студент Илья Фейнберг-Самойлов (было это в марте 1929 г.) прочел доклад о том, что обычное понимание строфы неверно, и привел ряд доказательств.

В седьмой строфе написано:

Молчит закон — народ молчит,
Падет преступная секира...
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

К этой строфе Пушкин сделал примечание:

„Наполеонова порфира, замечания для В. Л. Пушкина, моего дяди (родного)“.

Кроме того, Пушкин называл в черновике оды „На смерть Наполеона“ умершего императора злодеем и страшилищем вселенной.

Правда, в оде „Наполеон“ Пушкин отбросил все эти характеристики, данные в черновике, взяв для образа Наполеона иное толкование.

Положение строфы восьмой между строфою о смерти Людовика и строфою, начинающейся словами:

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает,—

тоже позволяет считать, что эта строфа заканчивает, так сказать, иностранную часть оды, что здесь после смерти Людовика описано царствование Наполеона, а после этого идет переход к России.

Доклад Фейнберга был заслушан, был одобрен М. А. Цявловским; напечатан не был, обсужден тоже не был.

В пушкинском однотомнике, изданном сейчас под редакцией Б. В. Томашевского, эта мысль, аргументированная в 1929 г., уже превратилась — через семь лет — в пушкинианскую аксиому.

Б. В. Томашевский дал к строфе примечание:
„Отношение к Наполеону как к „самовластитель-
ному злодею“ характерно для эпохи после войны
1812 г.“

То же сделано в издании „Академии“.¹

Пушкин называл Наполеона великим человеком
и говорил:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!

(„Наполеон“, 1821 г.)

Для Пушкина эти строки выражали не новое от-
ношение к Наполеону, а старое.

К строфе он дал примечание в письме к Вязем-
скому:

„Эта строфа ныне не имеет смысла, но она на-
писана в начале 1821 г.; впрочем, это мой послед-
ний либеральный бред, я закаялся...“ (1823 г.).

Дальше Пушкин цитирует свои стихи:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В поработенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
К чему стадам дары свободы?

Я привожу эту строфу потому, что в ней снова
упомянута свобода.

Пушкин как будто возвращается к своей старой
оде, отрекаясь от нее, и в то же время связывает
свое положительное отношение к Наполеону со ста-
рыми своими стихами.

¹ Под редакцией М. А. Цявловского.

Теперь я, кажется, изложил все те основания, какие некоторые пушкинисты положили в основу нового толкования стихотворения, отвергнув вековую традицию.

При новом толковании стихотворения Пушкин оказывался типичным защитником конституционной монархии.

Мы модернизировать Пушкина не должны, но, прежде чем переосмысливать его стихи, мы должны тщательно посмотреть, на чем основана столетняя традиция восприятия, идущая со времен самого Пушкина.

Стихотворение написано в эпоху Священного союза, в эпоху реставрации Бурбонов, поэтому третью строфу оды:

Увы! куда ни брошу взор—
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде несправедная власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — рабства грозный гений
И славы роковая страсть... —

всего вернее воспринимать как изображение после-революционной Европы.

Вряд ли Пушкину, другу Чаадаева, казалось, что нет никакой разницы между Наполеоном и Бурбонами.

Ода „Вольность“ написана или в 1817 г. или в 1819 г.

Первая дата указана самим Пушкиным, но данные переписки А. И. Тургенева с П. А. Вяземским указывают на 1819 г.

Пушкин имел основания молодить свою оду: это уменьшало его вину, она оказывалась написанной 18-летним юношей.

Во всяком случае, ко времени написания оды у Наполеона не было никакого трона, и трон его ненавидеть было не за что.

Кроме того, у Наполеона был только один сын, который умер только в 1832 г.

Таким образом, герой восьмой строфы имеет признаки, прямо противоречащие образу Наполеона.

Вся ода говорит о самовласти, притом о самовласти русском.

Возьмем стихотворение Пушкина 1822 г.

Давно ли ветхая Европа свирепела?
Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал,
За Пиренеями давно ль судьбой народа

Уж правила свобода,
И самовластие лишь север укрывал?
(Пушкин, т. I, стр. 414.)

Здесь совершенно ясно, понятно, о каком самовластии говорит Пушкин.

Дальше идет место: „Вот Кесарь, где же Брут?“

Кесарь здесь — русский царь, стоящий во главе Священного союза; это и есть тот тиран мира, которого проклинает Пушкин.

В оде дан синтетический портрет Павла и Александра, и Александра больше, чем Павла.

Я привожу запись Пушкина от 2 августа 1822 г.:

„Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де-Сталь за основание нашей конституции: *En Russie le gouvernement est un despotisme mitigé par la strangulation.* (Правление в России есть деспотизм, ограниченный удавкой) (Пушкин, т. VI, стр. 24).

Дети, которые гибнут у самовластительного злодея, — это дети Романовых.

Дочери Павла умирали в 1795 г., в 1801 г., в 1803.

Дочери Александра умирали в 1800 и в 1808 г.

То, что стихотворение написано в 1817 году, для меня вообще мало вероятно. Оно звучит, как более позднее.

Тут я должен прибавить еще одно обстоятельство, важное для датировки.

28 декабря 1818 г. умерла сестра и любовница Александра — Екатерина Павловна. Известие об этом было получено в России 11 января.

Это было большим горем Александра.

Образ Калигулы связан не только с Павлом, но и с Александром, потому что Калигула был убийцей своего отца и мужем своей сестры.

Упоминание о стихах на „Вольность“ мы находим в письме Карамзина от 19 апреля 1820 г. В это время гибель Екатерины Павловны была очень свежа, и мне кажется, что стихотворение написано в начале 1819 г. и „жесточая радость“ Пушкина имеет точный адрес.

Все это Пушкин превосходно знал. В 1824 г. он записывает свой воображаемый разговор с Александром I.

Привожу запись этого разговора и обращаю внимание, что в нем говорится о каких-то пушкинских обвинениях, которые направлены против личной правды и чести царя.

Вот разговор:

„Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: „Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи“. Александр Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал: „Я читал вашу оду *Свобода*. Она написана немного сбивчиво, слегка <?> обдумана“, а я: — Но тут есть три строфы очень хорошие... „Я заметил, [вы] старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы. Вижу, что вы можете иметь мнения неосновательные; что вы не уважили правду личную и честь даже в царе“. — Ах, ваше величество, зачем упоминать об этой детской оде?“ (Пушкин, т. VI, стр. 369).

Здесь Пушкин устами Александра говорит о „сбивчивости“ оды, причем „сбивчивость“ — это обвинение, и обвинение политическое.

Александр обвиняет Пушкина в том, что нарушена „личная правда и честь в царе“.

Пушкин знал цену своей „сбивчивости“, хитрил с дядей и был откровенен в воображаемом разговоре с Александром I.

Пушкин не оправдывается и ссылается только на „Руслана и Людмилу“.

Я заранее извиняюсь перед пушкинистами, если у меня в цитатах неверно поставлены кавычки и прямые скобки, теория которых сейчас так хорошо разработана, но мне кажется несомненным, что традиционное восприятие „Вольности“ — правильно, и несколько поколений не ошибалось, когда вкладывало в них отвергаемое Б. В. Томашевским толкование.

Ода „Вольность“ политически направлена прямо против Павла и Александра, написана она так, чтобы была возможность оправдываться и ссылаться на сбивчивость.

II

Что же делать с примечанием о дяде?

Примечание о наполеоновской порфире сделано для того, чтобы через легкомысленного сплетника дать цензурный вариант и сбить смысл следующей строфы, представляющей эмоциональный центр всего произведения.

Строфа снабжена чертами, которые позволяют ее отнести к Наполеону. Она так и поставлена, но она осмысливается следующей строфой, и это сделано поэтом сознательно.

В оде „Вольность“ начало оды построено почти из отвлеченных политических понятий.

Середина оды дает конкретное описание и по контрасту становится центром всего стихотворения.

Сбивчивость в строфе возникает благодаря тому, что пейзажный фон поставлен после нее, а не перед ней, и не подчеркнут переход к России.

Наоборот, ироническое примечание, говорящее о дяде, подчеркивает безобидность предыдущей строфы.

Пушкинское примечание отводит смысл стихотворного отрывка от его прямого политического звучания, в то же время не отменяя его.

Иронический смысл примечания, я думаю, для всякого ясен.

Очевидно, здесь нужно поговорить о пушкинских примечаниях вообще, потому что весь спор не может быть разрешен простым сличением черновиков и вариантов.

Возьмите „Евгения Онегина“.

В первой главе есть две темы: тема о герое поэмы и тема о судьбе поэта, мечтающего о перемени участи.

Идут не отступления от основной темы, а проводятся фугой обе темы.

Острота основной биографической темы ослаблена примечаниями.

У Пушкина в главе I „Евгения Онегина“ идет тема о стремлении поэта бежать из своей страны, чтобы принять участие в революционной борьбе за освобождение Греции.

Эта тема замаскирована примечаниями. Основной сюжет со всеми его подробностями пародиен.

Двупланность лежит в самой основе произведения.

Этот обиняк делается из стихов и примечаний.

В строфе второй Пушкин пишет:

Там некогда гулял и я:

Но вреден север для меня.

И тут же закрепляет примечанием: „Писано в Бесарабии“.

В восьмую строфу входит упоминание о ссылке Овидии Назоне, причем указано, что он сослан в Молдавию. Примечание, которое тут дано, обогащает читателя лишними подробностями об Овидии и носит пародийный характер ученого примеча-

ния. Оно уменьшает совпадение второй и восьмой строф, вернее—подчеркивает это совпадение и в то же время отводит его в другое русло.

Примечания идут дальше, переосмысливая текст и снижая „Евгения Онегина“. С темы бала входит тема ножки; в тему разлуки входит тема моря. Все отступление заканчивается строфою, в которой последние две строчки зарифмованно закругляют тему о женских ножках.

В конце главы Пушкин переходит к прямому разговору с читателем.

В строфе о Петербурге есть место об Евгении Онегине, который оперся на гранит. Рисунок Пушкина указывает нам точно место: он стоит перед Петропавловской крепостью, рядом с ним стоит Пушкин; эпиграмма, которая сохранилась от Пушкина, еще раз подчеркивает Петропавловскую крепость. Строфа законспирирована двумя цитатами, описывающими те же места в Петербурге. Приведен Муравьев:

Въявь богиню благосклонну
Зрит восторженный пиит,
Что проводит ночь бессонну,
Опершись на гранит.

Это—ложная улика, гранит переосмыслен в примечании, а строфы идут своей дорогой.

В Петербурге перекликаются часовые. Пушкин думает о Торквато Тассо. Потом в следующей строфе переходит к адриатическим волнам. Упоминается Байрон (лира Альбиона). И кончается переходом на будущее время. Появляется тема — Италия.

В ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

В пятидесятой строфе Пушкин переходит на признание:

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии,
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил...

(Пушкин, т. III, стр. 273.)

К этой совершенно откровенной строфе дано два обиняка. Это — последние две строки, переводящие все на обычное поэтическое общее место, и примечание об Африке.

К стиху „Брожу над морем, жду погоды“ дано примечание: „Писано в Одессе“. Оно переводит намерение в картину. Пушкин как будто бы увидал и написал.

Об Африке дано огромное примечание, с биографией Ганнибалов. Оно дает ложный адрес. Само по себе оно интересно, но оно отводит тему побега, дает другой мотив, тоску по какой-то второй родине, что уже политически безвредно.

Здесь вещь построена на колебании смысла: поэт то договаривает свою основную мысль до конца, то снова скрывает ее.

Пушкинские описания всегда просты, прямы, состоят как бы из одного прямого названия вещи. В то же время они широки.

С этим связано и постоянное отталкивание Пушкина от современной ему описательной бальзаковской прозы.

Конечно, у Пушкина, как гениального писателя, есть и другие методы восприятия действительности.

В „Евгении Онегине“ есть места совершенно нового восприятия вещи, — например: полусонный Онегин едет домой. Петербург дан перечислением, как бы темами для картин, он приготовлен для иллюстрированного издания, гравюры как будто будут заказаны в Париже.

Пока построение идет так: „Встает купец, идет разнощик“, и вдруг оно осложняется. После совершенно общей фразы: „Проснулся утра шум приятный“, идет простейшая фраза: „Открыты ставни“, и после нее другое отношение к вещи: „Трубный дым столбом восходит голубым“.

Это — то восприятие, за которое будут бороться импрессионисты.

Обычный дым — коричневый. Зимний, утренний, солнцем освещенный — голубой.

Здесь Пушкину понадобилось колоритное восприятие. Это элемент созревания нового жизнеотношения, нового видения вещей.

Но если говорить про всю систему романа, то вещи у Бальзака описываются, а у Пушкина называются.

Имена существительные несутся стихом.

Пушкинская многопланность — глубокое свойство его поэзии и прозы.

Отсутствие сложной образности, на котором Пушкин настаивает, прямое называние предмета у него положено в основу его поэтики потому, что образность достигается сложным соотношением смысловых планов.

ОКРУЖЕНИЕ ПУШКИНА

В „Истории одного города“ Салтыков-Шедрин так описывает поведение глуповцев после очередного их усмирения.

Градоначальник Бородавкин после того, как настал час его триумфа и все пали среди площади на колени, сказал:

„— Хорошо. Теперь рассказывайте мне, кто промеж вас память любезнейшей моей родительницы в стихах оскорбил?

Стрельцы позамялись; неладно им показалось выдавать того, кто в горькие минуты жизни был их утешителем; однако, после минутного колебания, решились исполнить и это требование начальства.

— Выходи, Федька! небось! выходи! — раздавалось в толпе.

Вышел вперед белокурый малый и стал перед градоначальником. Губы его подергивались, словно хотели сложиться в улыбку, но лицо было бледно как полотно и зубы тряслись.

— Так это ты? — захохотал Бородавкин и, немного отступя, словно желая осмотреть виноватого во всех подробностях, повторил: — так это ты?

Очевидно, в Бородавкине происходила борьба. Он обдумывал, мазнуть ли ему Федьку по лицу, или наказать иным образом. Наконец, придумано было наказание, так сказать, смешанное.

— Слушай! — сказал он, слегка поправив Федькину челюсть; — так как ты память любезнейшей

моей родительницы обесславил, то ты же впредь каждый день должен сию драгоценную мне память в стихах прославлять, и стихи те ко мне приноси!" (М. Е. Салтыков (Щедрин), „История одного города“, Л., 1935, стр. 109).

Б. М. Эйхенбаум в примечаниях к изданию „Истории" в „Школьной библиотеке классиков" (ОГИЗ, 1935 г.) говорит:

„Последние слова наводят на мысль, что Щедрин имеет здесь в виду отношение Николая I к Пушкину. Когда Пушкин вернулся в 1826 году из ссылки, Николай I заявил ему: „Довольно ты подурачился, надеюсь теперь будешь рассудителен, и мы больше ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь, отныне я сам буду твоим цензором" (стр. 257).

Дальше Б. М. Эйхенбаум приводит вольные стихи Пушкина о Екатерине, которые могли оскорбить память „родительницы" Бородавкина—царя.

Я, со своей стороны, считаю, что это место действительно относится к Пушкину, но здесь охарактеризован Салтыковым не столько поэт, сколько общество, его выдавшее головой.

История эта трагична, и никем, кроме Салтыкова, до сих пор не описана.

Пушкин в своей борьбе с Александром I надеялся не на поддержку друзей, а на поддержку общества. В этом и состоял его писательский профессионализм, его гордая независимость.

Он писал в 1824 г. А. И. Казначееву:

„Я жажду одного, — независимости; мужеством и настойчивостью я, в конце концов, добьюсь ее" (Переписка, т. I, стр. 115; подлинник написан по-французски).

Пушкин, как это отметил в своей статье А. М. Горький, гордился тем, что в журналах о нем пишут больше, чем об Александре I.

Он чувствовал себя представителем всего народа.

В надежде на общественное мнение, понимая это слово в самом широком смысле, Пушкин часто ста-

рался выиграть время, считая, что история — его союзница.

Друзья не понимали позиции поэта и не знали, что он видит через их головы.

4 августа 1825 г. князь П. А. Вяземский писал Пушкину из Ревеля в село Михайловское (Сочинения Пушкина, изд. Академии наук, Переписка, под ред. Д. П. Саитова, СПб, 1906, т. I, стр. 251—252).

Друг уговаривал Пушкина, он писал:

„Ты довольно вилял, но, как ни виляй...

Все придешь к тому же горю,

„Что велит нам умереть!“

Право, образумься, и вспомни — собаку Хемницера, которую каждый раз короче привязывали, есть еще и такая привязь, что разом уgomонит дыхание...“

У Хемницера подходящих басен есть две.

Первая — это „Дворовая собака“.

Собака сбежала к соседу. Сосед ее привязал.

Мораль басни:

И поделом: зачем сбежала?

Вперед, собака, знай, когда еще не знала,

Что многие умеют мягко стлать,

Да жестко спать.

Собаки добрые с двора на двор не рыщут,

И от добра добра не ищут.

(Сочинения и письма Хемницера, СПб.
1873, стр. 168—169.)

Вторая басня называется „Привязанная собака“. Даю ее целиком:

В неволе неутешно быть:

Как не стараться

Свободу получить?

Да надобно за все подумав приниматься,

Чтобы беды большой от малой не нажать.

Собака привязи избавиться хотела,

И привязь стала было рвать;

Не рвется привязь: грызть ее... и переела.

Но тою ж привязью опять,
Которой связаны концы короче стали,
Короче прежнего собаку привязали.

(Там же, стр. 173.)

Думаю, что Вяземский имел в виду обе басни. Первая ближе предостерегает от побега за границу, вторая ближе подходит к письму.

Вяземский снова писал (6 сентября того же года), уговаривая Пушкина смириться:

„Стоит ли барахтаться, лягаться и упрямиться, стоит ли наделять шуму в околodge, чтобы поставить на своем и добро бы еще поставить на своем, а ничуть, чтобы только не уступить, и кому же? заботливой деятельности дружбы! Перед дружбой не стыдно и поподличать; даже сладостно, в чем можно без нарушения чести, и переломить себя в угоду ей“ (Переписка, т. I, стр. 278).

Пушкина уговаривали долго и убедительно. Ему писали, чтобы он не верил в поддержку общественного мнения. Ему говорили: „Ты любишь в гонении: у нас оно, как и авторское ремесло, еще не есть почетное звание, *ce n'est même pas du tout un état*. Оно — звание только для немногих; для народа оно не существует. Гонение придает державную власть гонимому только там, где господствуют два раскола общественного мнения. У нас везде царствует одна православная церковь... Благородное несчастье не имеет еще кружка своего в месяцослове народа ребяческого, немного или много дикого и воспитанного в одних гостиных и прихожих... Пушкин по характеру своему; Пушкин, как блестящий пример превратностей различных, ничтожен в русском народе; за выкуп его никто не даст алтына, хотя по шести рублей и платится каждая его стихотворческая отрывка. Мне все кажется, *que vous comptez sans votre hôte* и что ты служишь чему-то, чего у нас нет. Дон-Кишот нового рода,

ты снимаешь шляпу, кладешь земные поклоны и набожничаеть перед ветряною мельницею, в которой не только бога, или святого, но и мельника не бывало" (там же, стр. 279—280).

Пушкина уговаривали: „плыви по течению“.

Пушкин был выдан головою.

Исполнились его стихи:

И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.

(Подражания Корану, 1824.)

Об этих стихах напоминал Пушкину Рылеев в апреле 1825 г. (Переписка, т. I, стр. 205).

В „Истории города Глухова“ рассказано, как выдали Пушкина.

Пушкин сдавался медленно.

Предан он был друзьями еще до разгрома декабристов.

Сопrotивлялся он и после разгрома.

В январе 1826 г. он писал Жуковскому:

„... Положим, что Правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов улаиваться...“

„Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною Правительства“.

(Переписка, т. I, стр. 318).

7 марта 1826 г. он снова пишет Жуковскому:

„Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости“ (там же, т. I, стр. 335).

Письмо это полуофициальное, Жуковский в это время состоял при дворе воспитателем наследника престола.

Вероятно, содержание письма обусловлено самим Жуковским и предназначено для показа. Последние строки представляют собою предел уступок Пушкина того времени.

Пушкин еще не смирился.

„СЕМЕЙСТВЕННЫЙ“ — ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН И ОТХОД ОТ НЕГО

1

„АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО“

Название романа было дано издателями его при напечатании беловой рукописи в VI томе „Современника“, уже после смерти Пушкина.

Вещь своеобразно биографична, она изображает историю одного из предков Пушкина.

Исторический материал, над которым работал Пушкин, вероятно, невелик. В основном он сводится к „Деяниям Петра Великого“ И. И. Голикова, из „Приложения“ к которым Пушкин взял анекдот о парижском петиметре и данные об отношении царя к старинной боярской спеси.

Биографические данные о Ганнибале введены были в повествование из жизнеописания Ганнибалов, которое было у Пушкина на руках.

Кроме того, Пушкин очень широко использовал в описательных частях повести статьи А. О. Корниловича, напечатанные в маленьком альманахе его „Русская старина“ (С.П.Б., 1824 и 1825 гг.).

Я не привожу соответствующих мест из „Арапа“, так как книга находится у всех на руках, но приведу несколько отрывков из альманаха.

Сборник этот очень хороший, статьи его представляют собою сводку, снабженную библиографией.

Возьмем статью о первых балах в России:

„Кроме сказанных танцев, был церемониальный, которым всегда начинались свадебные и вообще торжественные праздники: становились как в экосезе; при степенной музыке мужчина кланялся своей даме и потом ближайшему кавалеру; дама его следовала тому же примеру, и, сделав круг, оба возвращались на свое место. Сии поклоны, повторенные всеми, заключались польским; тогда маршал, заведывавший праздником, громко объявлял, что церемониальные танцы кончились... В менюэтах дамам предоставлен был выбор... Мужчина, желавший танцевать с дамой, подходил к ней не прежде, как после трех церемониальных поклонов“ (стр. 106—107).

Пушкин идет по этому описанию точно, называя только музыку „плачевной“ и вводя оценку ассамблеи сразу с двух сторон: он показывает старых боярынь, недовольных ассамблеей, и молодого петиметра, сравнивающего ассамблею с парижскими балами.

Но и этот кусок восходит к источнику. Приведем отрывок:

„Матушки, воспитанные по старине, неохотно повиновались воле Государевой и жаловались на развращенное время, в которое девушкам позволялось, не краснея, разговаривать и даже (чего боже сохрани) прыгать с молодыми мужчинами“ (стр. 102).

„Ассамблеи устроены были следующим образом. В одной комнате танцевали; в другой находились шахматы и шашки; в третьей трубки с деревянными спичками для закуривания, табак, рассыпанный на столах, и бутылки с винами“ (стр. 102).

Здесь дана и картина ассамблеи, которую Пушкин только развернул, и показана оппозиция старух.

Но конфликт, в который попадает Корсаков, неосторожно сам подошедший пригласить молодую гостью и за это наказанный „кубком большого орла“, Пушкин вносит от себя. В его источнике написано так:

„Вообще наши тогдашние танцовщики, одетые по образцу придворных Лудовика XIV, перенимали и

в обращении уловки сих корифеев светской жизни; но подражая, старались иногда превосходить тех, которых брали за образец. Таким образом мужчина, желавший танцевать с дамою, подходил к ней не прежде, как после трех церемониальных поклонов".

По смыслу отрывка, именно парижские петиметры и внесли чопорность на ассамблеи; церемониальное приглашение не было новостью для человека, приехавшего из Парижа.

Материал, которым пользуется Пушкин в своей повести, в бытовом отношении не велик. Книжка, вышедшая в 1825 г., притом книжка очень небольшая, используется им через два года почти целиком.

У Пушкина нет попыток удивить читателя новизною материала. Он идет шаг за шагом за одним источником. Из этого же источника он взял и фигуру шведского пленного — учителя танцев.

Писателю имеет смысл сличить статью из сборника Корниловича с повестью Пушкина для того, чтобы убедиться, как интенсивно использует Пушкин материал. Но одновременно мы видим и другое. У Пушкина все приведено в движение; ассамблея оживлена реальными, чрезвычайно резкими по своей окрашенности героями.

В ассамблею введен царский арап Ибрагим, причем он показан прямо после приезда из Парижа.

Так позднее, в плане, в боярский дом введен стрелецкий сын, и через него, очевидно, вводится вся история Софьи и стрелецкого бунта.

Таким образом быт у Пушкина дается в столкновениях.

Роман не был дописан. Написанные главы не целиком появились при жизни Пушкина.

Статья в „Путеводителе по Пушкину“ объясняет это так:

„Роман отложен был сперва только на время (еще в середине апреля 1828 г. Пушкин читал написанные им главы Жуковскому и Вяземскому), но уже в следующем году Пушкин перешел к работе над более актуальными для него повестями из совре-

менного быта и возвращаться к „Арапу“ не спешил. Между тем проблема создания оригинального русского исторического романа в жанре Вальтер-Скотта была разрешена „Юрием Милославским“ Загоскина, а осенью 1830 г. в одном из выступлений Булгарина против Пушкина в „Северной пчеле“ попутно была задета и грубо высмеяна самая тема о Ганнибале как предке Пушкина. Выпад Булгарина был резко отражен в „Моей родословной“ (в бумагах Пушкина остался еще более острый ответ в „Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений“). Об окончании „Арапа Петра Великого“ после этой полемики не могло быть и речи (характерно для Пушкина изъятие после выступления Булгарина даже примечания о Ганнибале из новых изданий „Онегина“). Попыткой частичного использования глав романа с устранением из них всех материалов о Ганнибале являются планы повести о стрелце (см.) Хронологические рамки повести отодвигаются ко времени царевны Софьи, петровский материал переносится в историческое вступление к „Медному всаднику“ (Пушкин, кн. 12, приложение к журн. „Красная нива“, стр. 41).

Я не согласен с этим мнением, потому что „стрелецкий сын“ есть уже в написанном пушкинском материале.

Планы непосредственно примыкают к написанным главам.

В них Пушкину пришлось бы делать только добавления и изменения, а не выкидки.

Маловероятно предположение, что Пушкин просто отступил и перестал упоминать даже имя Ганнибала.

Примечание к „Евгению Онегину“ было снято потому, что исчезла его первоначальная цель — маскировка прямых упоминаний о побеге, и потому, что материал нужен был для другой вещи. Он стал слишком ценен, чтобы отдавать его на примечания.

Роман задержался благодаря тому, что новые планы требовали переделки старых глав, уже напечатанных.

Новая тема, которая появилась у Пушкина, — это тема о восстании и о человеке, ищущем свое место в изменившихся исторических условиях.

„Арап Петра Великого“ в своих планах перерос первоначальную наметку, а интерес к истории рода изменялся.

Посмотрим окончание глав и проследим, как к ним примыкают планы.

У Пушкина повесть кончается появлением красивого молодого человека в мундире в комнате Густава Адамовича — пленного шведа.

Появление молодого посетителя в повести предварено жалобами Наташи — невесты арапа.

В бреду Наташа называет имя Валерьяна. Из разговора родителей ее мы узнаем, что Валерьян — это сирота, стрелецкий сын, который воспитывался в доме боярина.

Отец его когда-то во время бунта спас жизнь самого боярина.

Сохранились пушкинские планы, которые можно связать с неоконченной повестью.

Повесть написана в 1827—1828 гг. Планы датированы более поздними годами, но связь их несомненна.

Первый план связан с повестью, кроме того, и упоминанием фамилии Ржевского, боярина, за дочь которого сватается арап.

Вот эти планы. Первый план датирован предположительно 1830—1834 гг.

<Планы и наброски повести о стрельце и боярской дочери>

<1>

Стре<лец>, влюбленный в боярскую дочь — Отказ — Приходит к другу-заговорщику — Вступает в заговор.

<2>

Софья во дворце — Нищие, скоморох. Скоморох и ст<арый> раскольник. — Молодой стрелец. Заговор.

Стрелец влюбляется в Ржевскую; сватается, получает отказ.—Он становится уныл—Товарищ открывает ему заговор. Он объявляет обо всем правительнице; Софья принимает его как заговорщика, объяснение.—Софья сваха. Комедия у боярина.

Бунт стрелецкий, боярин спасен им, обещает выдать за него дочь. [Мать торопится и выдает ее за боярина]. Ржевская замужем.

<3>

1) Стрелец, сын ст<арого> раскольника, видит Ржевскую в окошко, переодетую горничной девушкой.—Сватает через мамушку-раскольницу—получает отказ.

Полковник стрелецкий имеет большое влияние на своих; Софья хочет его к себе перемануть.—Он рассказывает ей, каким образом узнал он о заговоре.

Софья. О чем же ты был печален?—Об отказе—Я сваха—Но будь же etc.

<1830—1834>

(Пушкин. Полное собр. соч., М., 1936, т. IV, стр. 514—515).

Весь этот план по времени предшествует действию написанного Пушкиным отрывка. Ржевская здесь выдана замуж за боярина. Арап Петра Великого не упоминается в этом плане.

Непосредственно к повести примыкает, по моему мнению, другой отрывок плана, датированный предположительно 1834—1835 гг.

„Сын казненного стрельца воспитан вдовою вместе с ее сыном и дочерью; он идет в службу вместо ее сына. При Пруте ему Петр поручает свое письмо.

Приказчик вдовы доносит на своего молодого барина, который лишен имения своего, и отдан в солдаты.

Стрел<ецкий> сын посещает его семейство—и у Петра выпрашивает прощение молодому.

(Там же, стр. 516).

Этот план уже прямо примыкает к написанному отрывку. Дальнейший ход повести ясен.

Сюжет о подмененном офицере петровских войск реален и пользовался вниманием в то время. Существует роман Нестора Кукольника „Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова“.

В этом романе бедняк подменяет богатого соседа и в результате, попав в армию, быстро поднимается по служебной лестнице.

Совершив подвиги, герой открывается Петру. Костылькова прощают.

И у Пушкина и у Кукольника сюжет основан на петровском указе.

„Тех, кои под своим именем вместо себя отдали других в рекруты, простить, буде они принесли в том самовольно повинную, а подставных в чинах и местах оставить каких дослужились“ (Кукольник, т. III, стр. 222).

При более внимательном анализе, для которого, вероятно, достаточно просмотреть книги Голикова по истории Петра, можно конечно и уточнить несуществующий сюжет Пушкина.

Помешала дописать „Арапа Петра Великого“ не статья Булгарина.

Существует список эпитафий, заготовленных Пушкиным для „Арапа“. Первый эпитаф:

Я тебе жену добуду

Иль я мельником не буду.

(Аблесимов, в опере „Мельник“)—

дает несколько ироническую характеристику настоячивости Петра в сватовстве.

Второй эпитаф:

Уж стол покрыт, уж он рядами

Несчетных блюд оягощен...

(Баратынский)—

скорее всего предназначался для главы IV и был заменен эпитафией из „Руслана и Людмилы“, начинающимся словами:

Не скоро ели предки наши.

Эпиграф:

Железной волею Петра преображенная Россия
(Языков) —

мог относиться к главе V.

Два последних эпиграфа особенно любопытны.

Как облака на небе,
Так мысли в нас меняют легкий образ.
Что любим днесь, то завтра ненавидим.
(Кюхельбекер)

Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен...
Желанием честей размучен,
Зовет, я слышу, славы шум!
(Державин)

Предпоследний эпиграф — это след главы, в которой должно было быть изображено колебание невесты.

Последний эпиграф мог предшествовать главе, в которой любовь Ганнибала сменялась бы жаждой славы.

Вряд ли у Пушкина когда-нибудь был план делать Ржевскую женою Ганнибала. Неудача сватовства арана была предусмотрена уже в первоначальном плане.

Ржевская, исторически Сара Юрьевна, дочь одного из любимцев Петра I, была замужем за Алексеем Федоровичем Пушкиным. Алексей Федорович был сыном казненного при стрелецком мятеже Федора Матвеевича, т. е. его положение совпадает с положением Валерьяна.

Таким образом, роман должен был изобразить соперничество предков Пушкина.

Пушкин чрезвычайно интересовался делом стрелецкого подполковника Цыклера, который был в заговоре против Петра.

В своей „родословной“ Пушкин записывает:

„При Петре I сын его (окольного Матвея Сте-

пановича Пушкина. — В. Ш.), стольник Федор Матвеевич, уличен был в заговоре противу государя и казнен вместе с Цыклером и Соковниным" <Родословная Пушкиных и Ганибалов> (Пушкин, т. VI, стр. 377).

„Стрелецкий сын“ был, очевидно, сыном одного из казенных, т. е. сыном или Соковнина, или Цыклера, или Пушкина, что всего вероятней, несмотря на измененные имена.

Таким образом, в романе не предполагалось изменять историю и давать „Арапу“ — Ганнибалу — в жены Ржевскую, а не Диопер.

Сюжет романа в отношении Ганнибала должен был быть, очевидно, так.

В первой главе дана сцена, в которой описывается рождение черного ребенка от Ибрагима и белой женщины в присутствии самого арапа:

„Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу; каждый промежуток молчания обливал его ужасом... Вдруг он услышал слабый крик ребенка, и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини — черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Ибрагим к нему приблизился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащею рукою“ (Пушкин, т. IV, стр. 15). А дальнейшая судьба Ганнибала состояла в том, что уже собственная его жена рожала ему белого ребенка.

Я приведу отрывок, записанный Пушкиным в 30-х годах. Я думаю, что он относится к „Арапу Петра Великого“, но весь тон отрывка показывает, что роженка эта не русская барыня. Название „милая изменница“ скорее подходит к полуиностранке Диопер.

Вот этот отрывок:

„Часто думал я об этом ужасном семейственном романе: воображал беременность молодой жсны, ее ужасное положение и спокойное доверчивое ожидание мужа.

Наконец час родов наступает. Муж присутствует

при муках милой изменницы. Он слышит первые крики новорожденного; в упоении восторга бросается к своему младенцу — и остается неподвижен———

<Начало 1830-х годов>
(Пушкин, т. IV, стр. 476-477.)

Развязку этой сцены мы находим в „Родословной Пушкина и Ганибалов“, записанной Пушкиным в 30-х годах.

„В семейственной жизни прадед мой Ганибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь“ (Пушкин, т. VI, стр. 380).

Таким образом в романе Ганнибал должен был пережить не одно несчастье, а два.

Сперва его счастливым соперником оказывался сын казненного стрельца, за которым мы видим Алексея Федоровича Пушкина.

Потом шла женитьба на иностранке-красавице — и новое разочарование.

С точки зрения техники романа можно предположить, что отцом белого ребенка был петиметр Корсаков, потому что в романе нет другого подробно описанного молодого привлекательного человека.

Роман остался неоконченным не потому, что Пушкин отступил перед натиском Булгарина, а потому, что его перестала удовлетворять эта семейственная коллизия.

И тут вошла еще тема Петра, тема очень сложная. Тема Петра осложнялась темой отношения его к дворянству.

II

„СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН“

История определяла во многом прозу пушкинского времени.

Это была пора не только великого исторического

романа Вальтер-Скотта, но и пора новых идей в истории.

Государства, борясь между собою в эпоху наполеоновских войн, оознавали себя как нации.

Имя Наполеона витает над всеми историческими романами.

„Юрий Милославский“ Загоскина органически сменяется „Рославлевым“, на „Рославлева“ отвечает Пушкин.

В России исторический роман осуществился несколько иначе. В нем выразилась жажда личного участия в истории.

Эта жажда у Пушкина видна в его работе над своей „родословной“, в которой он тщательно отмечает все те моменты, когда предки его изменяли своим решением ход событий.

Пушкин писал:

„В наше время под словом роман разумею историческую эпоху, развитую вымышленным повествованием. Вальтер Скотт увлек за собою целую толпу подражателей“.

Слово „роман“ ассоциировано со словом „исторический“.

Романы полны жажды личного участия в современности.

Полевой в предисловии к книге „Клятва при гробе господнем“ говорит:

„Солдат, который под Бородино исполнил уже свой долг, участвовал уже в великом деле 1812 года“.

„Если бы я мог действовать, я действовал бы, теперь я говорю“.

Это цитата из Руссо, который жалел о том, что он не принц и не законодатель.

Руссо писал так потому, что он был человек, который еще не осуществил себя.

Он был законодатель революции, но до нее.

Современник Пушкина Бальзак мечтает о другом.

Прошла эпоха законодательств.

Каковы бы ни были отношения Бальзака к его

современности, его герои живут в ней, а не в истории.

Если чего нехватает им и Бальзаку, то это места в современности, полного обладания ею.

Вот что писал Бальзак:

„Какая чудесная вещь — встать и сидеть в халате, положить ноги на гладкую перекладину, соединяющую двух грифов каминной решетки, и думать о своей любви! И я бесконечно жалею, что у меня нет ни любовницы, ни каминной решетки, ни халата. А когда у меня все это будет, я не буду уже больше рассказывать о своих наблюдениях, я их использую...“

Он пишет о вещах, описывает жизнь, которой не обладает еще.

В пушкинской историчности есть два периода: первый период — это историчность биографическая.

Она лежит еще в планах „Дубровского“ и в первых набросках „Капитанской дочки“.

Пушкин поздний, Пушкин 1835 года, Пушкин, решивший, что аристократии у нас нет, пишет „Сцены из рыцарских времен“.

Я прежде всего напому читателю сюжет или, вернее, план драмы.

Молодой сын суконщика ссорится с отцом. Отец дружит с алхимиком. Сын суконщика думает, что „мещанин имеет право дышать одним воздухом с дворянином“. Он идет в замок. Туда приводит его любовь к дворянке. Он поступает в оруженосцы с расчетом, что если рыцарь его ударит, то он еще посмотрит „кто кого“. В замке происходит ссора. Франц бежит и поднимает вассалов. Вассалы косами сбивают рыцарей с лошадей, бьют их, но не могут победить. Рыцари лежат. Наезжает другой отряд рыцарей. Вассалы бегут. Франц схвачен. Рыцарь говорит:

„И эти подлые твари могли победить благородных рыцарей! смотрите, один, два, три... девять рыцарей убито. Да это ужас!“ (*Лежащие рыцари встают один за другим.*)

Рыцари: Как! вы живы?

Альбер: Благодаря железным латам..."

(Пушкин, т. III, стр. 228.)

Франца ведут в замок, хотят повесить, перед смертью он поет песню. По просьбе Клотильды его не казнят. Рыцарь Ротенфельд говорит:

„... Запрем его в тюрьму, и даю мое честное слово, что он до тех пор из нее не выйдет, пока стены замка моего не подымутся на воздух и не разлетятся“. (Там же, стр. 234—235.)

Франца отводят в тюрьму.

Дальше сохранился только план.

„Бертольд в тюрьме занимается алхимией — он изобретает порох. — Восстание крестьян, возбужденное молодым поэтом. Осада замка. [Бертольд] взрывает его. Рыцарь — воплощенная посредственность — убит пулей. Пьеса кончается размышлением и появлением Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания — своего рода артиллерии)“. (Там же, стр. 448.)

Тема вещи: порох и книгопечатание, созданные новым классом — буржуазией, побеждают рыцарскую спесь и отсталость.

Указания Н. П. Демидова на совпадение некоторых сцен пушкинского отрывка с „Жакерией“ Мериме не убедительны.

Существует статья декабриста Бестужева-Марлинского, очень крупного писателя-прозаика, о романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“. Статья написана была в Дагестане в 1833 г. (напечатана в „Московском телеграфе“ в 1833 г., №№ 51-53) и по обычаям того времени представляет развернутую историю литературы и даже культуры от появления человечества до Н. Полевого. Тема статьи — романтизм в его связи с новыми явлениями в истории. Статья очень интересна и мало известна.

Белинский признавал за статьями Бестужева „неотъемлемую и важную заслугу русской литературы и литературного образования русского общества“.

В 30-х годах Марлинского называли „Пушкиным прозы“.

Статья Марлинского, которую мы цитируем, известна мало, потому что это одна из последних, если не последняя, статья автора.

Принято думать, что влияние Марлинского в это время уже шло на убыль. Сама тема статьи — позабытый роман Полевого — тоже отводила ее из сферы внимания наших, обычно очень внимательных, литературоведов.

Я цитирую статью по полному собранию сочинений Марлинского. (С.П.Б., 1840.)

Бестужев рассказывает о том, как в то время, когда большие и малые владельцы тормозили друг друга, „возникла и крепла в Европе совершенно неизвестная в древности стихия гражданственности, стихия, которая впоследствии поглотила все прочее,—я говорю о мещанстве“.

„Она дала купцов, ремесленников, ученых... передела в пеструю куртку странствующего комедианта, но всего важнее: она дала жизнь писателю всех родов, поэтам всех величин, авторам по нужде и по наряду, по ошибке и по вдохновению.“

Изобретение пороха и книгопечатания добило старинное дворянство. Первое ядро, прожужжавшее в рядах рыцарей, сказало им: опасность равна для вас и для вассалов ваших. Первый печатный лист был уже прокламация победы просвещенных разночинцев над невеждами-дворянчиками. Латы распались в прах“ (том 11, стр. 266).

Вещь Марлинского была напечатана и, конечно, была известна Пушкину. В ней есть все сюжетное задание „Сцен из рыцарских времен“. Прежде всего названы противники—дворянство и мещанство, буржуазия, как объясняет Марлинский в скобках. Потом названы действующие лица — поэт и изобретатель, дано столкновение, описано ядро, которое разбивает латы рыцаря. У Пушкина пуля пробивает доспехи, но для орудий того времени эта разница меньше, чем для современного оружия. Сцена стол-

кновения вассалов под предводительством буржуа с рыцарями дана Пушкиным для того, чтобы победа над латами была потом ощутима.

Книгопечатание у Пушкина является совершенно неожиданно. Если не знать статью Бестужева-Марлинского, то фраза „изобретение книгопечатания — своего рода артиллерии“ непонятна.

Для Пушкина, может быть, сыграла роль концепция Бестужева. У Бестужева после победы пороха романтизм торжествует над посредственностью.

„С тех пор пророческий мистицизм, восточная роскошь описаний, иносказания и торжественность языка завладели всею поэзией: мир библии ожил под кистью Рафаэля, под пером Мильтона, отразился во всем и везде. Можно сказать: с той поры не переставала явная борьба двух начал политических, принявших на себя сперва красу религиозного фанатизма, а потом литературной исключительности. Реформаторы отвергли католичество оттого, что оно впало в вещественность и вмешалось не в свои дела, захватив чужое добро. Мы сбрасываем с себя классицизм, как истлевшую одежду мертвеца, в которую хотели нарядить нас. И ничего нет справедливее: дуб прекрасное дерево, слова нет, но дубовый пень плохая защита от солнца. Зачем же вы привязываете детей к гнилушкам, когда они могут найти прохладу под кудрявою березкою. Для живых надо живое“ (стр. 267).

Отзвуки вещи Мериме, указанные Н. П. Демидовым, могли сыграть в вещи Пушкина только роль материала для развертывания сцен.

Нас интересуют не указания на возможный источник отрывка Пушкина, а политическая ориентировка Пушкина в это время.

Пушкин, автор „Полтавы“, здесь сказывается в новом для нас качестве. Нужно думать, что план Пушкина в развернутом виде был бы цензурно совершенно неприемлем. То, что произошло у Бестужева-Марлинского в очень большой запутан-

ной статье, не прошло бы в системе четких образов.

С точки зрения анализа творчества Пушкина любопытна зависимость художественного произведения от теоретической статьи, превращение научного (с точки зрения того времени) построения непосредственно в драму. Интересно отметить, что Марлинский сам говорил, что только прежде „жизнь была сама по себе, а ученость сама по себе“.

О ПУШКИНСКОМ МЕТОДЕ ОПИСАНИЯ

Один не крупный писатель, Н. А. Мельгунов, в 1837 г. жил около Франкфурта-на-Майне.

Среди знакомых его были и немецкие литераторы.

Смерть Пушкина сильно увеличила внимание немцев к русской литературе.

Литератор Кениг расспрашивал Мельгунова о Пушкине. На основании данных ему сведений он написал статью о Пушкине.

Беседы продолжались, и в результате получилась книга о русской литературе. Книга имела успех, была переведена на чешский язык.

Одним из результатов ее было то, что на немецком языке появились статьи о Пушкине, авторы которых уже специально изучали русский язык.

Мельгунова потом обвиняли в том, что книга враждебно говорит о Булгарине и Грече, и ему пришлось оправдываться в специальной брошюре „История одной книги“ (М., 1839 г.)

Книга Кенига содержит характеристику Пушкина, данную по свежей памяти человеком, его знавшим.

„Он был невысокого роста и наружности непривлекательной. Курчавые волосы, впрочем, более каштанового цвета, чем совершенно черного, широкий нос и живые мышинные глаза напоминали о его арапском происхождении. Движения его были быстры и странны. Говорил также живо и отрывисто. Был остроумен, блестящ, без особенной глубины;

склад ума его был более французский, чем немецкий... Слог его краток и точен, чуждается всего излишнего, всего, что служит к его украшению. Он редко прибегает к метафорам, но где их употребит, там они необходимы и метки. В слове, всегда метком, и заключается его искусство. Везде чувствуешь, что мысли и нельзя было иначе выразить; в выражении его ничего нельзя изменить" („Очерки русской литературы", стр. 112—113).

Здесь дан интересный анализ пушкинской речи.

Малое количество метафор и мысль, выраженная так, что выражение нельзя изменить.

В стихах Пушкин подчинил ритм мысли, — об этом хорошо сказал в „Чтении о русском языке" Николай Греч.

„Но первое место в числе писателей нового времени принадлежит Пушкину. Он создал свободный русский стих, не ту звонкую строку, в которой низанные стопами слова нередко заменяли смысл, а поэтическую фразу, т. е. полное классическое предложение, облеченное в форму стиха и подчиняющее себе меру и рифму" (часть I, стр. 159).

Пушкин враждебно говорил о стихах-копиях, стихах, которые появились, как отзвук.

А. С. Андреев сделал запись о словах Пушкина перед картиной Брюллова. Запись эта появилась во втором номере „Звеньев".

Разговор, который здесь приводится, датируется 1837 годом.

„Кисть, как перо: для одной — глаз, для другого — ухо. В Италии дошли до того, что копии с картин столь делают похожими, что, ставя одну оборот другой, не могут и лучшие знатоки отличить оригинала от копии. Да, это как стихи, под известный каданс можно их наделать тысячи, и все они будут хороши. Я ударил об наковальню русского языка, и вышел стих — и все начали писать хорошо" (стр. 238).

Для Пушкина слово и ритм должны были подчиняться мысли. Поэтому случайностей, обмолвок

мы у него не встречаем. Привожу его известное высказывание (1822 г):

„Д'Аламбер сказал однажды Лагарпу: не выхваляйте мне Бюфона [этот человек] пишет: „Благороднейшее из всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое и проч.“ Зачем просто не сказать — лошадь? — Лагарп удивляется сухому рассуждению философа. Но д'Аламбер был очень умный человек — и, признаюсь, я почти согласен с его мнением.

Замечу мимоходом, что дело шло о Бюфоне — великом живописце природы. Слог его, цветущий, полный, всегда будет образцом описательной прозы. Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу [ветхими] дополнениями и вялыми метафорами!..“

„...Вольтер может похвастаться лучшим образцом благородного слога. — Он осмелся в своем Микромегасе изысканность тонких выражений Фонтенеля, который никогда не мог ему того простить“ (Пушкин, т. VI, стр. 24—25).

Пушкин ставил идеалом слога в прошлом слог французской литературы. Вещи должны были быть обозначены точно, а не сравнены, но спор шел уже не с Фонтенелем, скоро спор был начат с Бальзаком.

Метод Бюффона был близок новой французской прозе.

Позднее Бальзак писал в предисловии к „Человеческой комедии“: „Если Бюффон создал изумительное произведение, попытавшись в одной книге представить весь животный мир, то почему бы не создать подобного же произведения о человеческом обществе“.

Бальзак глубоко понимал современное ему общество, и его метод описания связан со строением этого общества (но только идеалистически поставлен на голову).

Он говорил:

„Таким образом, предстоящее произведение должно было охватить три формы бытия — мужчин, женщин и вещи, то-есть людей и материальное воплощение, зависящее от их способа мыслить“.

Метод Бальзака аналитичен, и детали определяют его.

В книге „Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово“ (Ленинград, 1927) в статье Б. В. Томашевского приводится характеристика манеры Бальзака, данная критиком „Revue de Paris“. Характеристика относится к 30-м годам.

„Вот он, глубокий, тонкий наблюдатель, точно разлагающий мысль и исследующий под лупой детали...“

Б. В. Томашевский продолжает:

„В послесловии ко второму тому „Scènes de la vie privée“ Бальзак, защищая себя от обвинения в плагиате, говорит: „Отличительная черта таланта, несомненно, изобретение плана (l'invention), но ныне, когда все положения использованы, когда уже испытано невозможное, автор твердо уверен, что только детали впредь образуют достоинство произведений, неточно именуемых романами“.

„Отмеченная особенность стиля Бальзака заставляет признать совершенно правильным отнесение, сделанное П. Н. Сакулинчым, следующих слов Пушкина о повестях Павлова именно к Бальзаку: „В слоге г. Павлова, чистом и свободном, изредка отзывается манерность; в описаниях — близорукая мелочность нынешних французских романистов“ (1836 г.).

Очевидно, „манерность“ и „мелочность“ и отталкивали Пушкина от Бальзака“ (стр. 248).

Пушкин описывает иначе: прямыми, ясными словами. Мелочность, иносказательность, переключение вещей ему не нужны.

Чуждо такое восприятие и Толстому.

В черновиках „Детства“ Толстого есть отрывок:

„В одном французском романе автор (имя которого очень известно), описывая впечатление, которое производит на него одна соната Бетховена,

говорит, что он видит ангелов с лазурными крыльями, дворцы с золотыми колоннами, мраморные фонтаны, блеск и свет, одним словом, напрягает все силы своего французского воображения, чтобы нарисовать фантастическую картину чего-то прекрасного. Не знаю, как другие, но, читая это очень длинное описание этого француза, я представлял себе только усилия, которые он употреблял, чтобы вообразить и описать все эти прелести. Мне не только это описание не напомнило той сонаты, про которую он говорил, но даже ангелов и дворцов я никак не мог себе представить. Это очень естественно, потому что никогда я не видал ни ангелов с лазурными крыльями, ни дворцов с золотыми колоннами. Ежели бы даже,—что очень трудно предположить,—я бы видел все это, картина эта не возбудила бы во мне воспоминания о сонате. Такого рода описаний очень много вообще, и во французской литературе в особенности". (Полное собрание сочинений под общ. ред. В. Г. Чертова, М.-Л., 1928, т. I, стр. 177).

Зачеркнуто: „Я вспомнил это описание, — оно находится в романе Бальзака „César Birotteau“; но сколько таких описаний во французской литературе, то знают те, которые с ней знакомы“.

Дальше Толстой говорит: „Что еще страннее, это то, что для того, чтобы описать что-нибудь прекрасное, средством самым употребительным служит сравнение описываемого предмета с драгоценными вещами“.

И тут Толстой приводит пример, как поэт сравнивает капли, падающие с весел в море, с жемчугом, падающим в серебряный таз. Толстой сейчас же остранныет и реализует это сравнение, реалистически дополняя его подробностями.

„Прочтя эту фразу, воображение мое сейчас же перенеслось в девичью, и я представил себе горничную с засученными рукавами, которая над серебряным умывальником моет жемчужное ожерелье своей госпожи и нечаянно уронила несколько жем-

чужининок... а о море и о той картине, которую с помощью поэта воображение рисовало мне за минуту, я уже забыл" (там же, стр. 178).

Толстой совершает путь, обратный пути Бальзака. Он возвращает вещи ее единственное и прямое значение. Сравнений с драгоценностями, казалось бы, не так много у Ламартина и Бальзака, но тенденция одрагоценнения сильна, особенно в пейзажах.

Вот вид реки: „... Путешественник может одним взглядом охватить все извилины Сизы, кружащейся серебристой змеей по траве лугов, первые весенние побеги которой придают им цвет изумруда. Слева Луара является во всем своем великолепии. На обширных пространствах этой величественной реки, в бесчисленных гранях, образуемых на воде порывами несколько холодноватого утреннего ветра, отражается сверкание солнца. Тут и там на водной поверхности чередуются между собою зеленющие острова, как звенья какого-то ожерелья". (Оноре де Бальзак, „Человеческая комедия“, М., 1935, т. II, стр. 16).

Пушкин описывал реку иначе. Вот как описана Волга в „Дубровском“:

„Волга протекала перед окнами; по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбацьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекой тянулись холмы и поля; несколько деревень оживляли окрестности“.

Все. Больше про Волгу он не написал.

Его интересует сама Волга, он ее описывает как Волгу, и она ему в рассказе больше не нужна.

На первый взгляд позиция Пушкина в споре его с Бальзаком как будто архаична.

Но в то же время она подготавливает прозу будущего.

Пушкин подробности подчиняет конструкции.

Лев Толстой в письме к Голохвостову от 1874 г. пишет:

„Давно ли вы перечитывали прозу Пушкина?

Прочтите сначала все „Повести Белкина“. Их надо изучать и изучать каждому писателю. Изучение это чем важно? Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии и смещение низших с высшими или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства... чтение Гомера, Пушкина сжимает область и если возбуждает к работе, то безошибочно“.

Цитирую по книге Тынянова „Архаисты и новаторы“ (стр. 281).

Сохранились отрывки из пушкинского „Романа в письмах“. Они написаны в тридцатых годах. Эти отрывки любопытны тем, что в них дана попытка пересмотреть старый роман и использовать его. Лиза пишет своей подруге:

„Ты не можешь вообразить, как странно читать в 1829 году роман, писанный в 775-м. Кажется, будто вдруг из своей гостиной входим мы в старинную залу, обитую штофом, садимся в атласные пуховые кресла, видим около себя странные платья, однако ж знакомые лица, и узнаем в них наших дядюшек, бабушек, но помолодевшими. Большею частью эти романы не имеют другого достоинства — происшествие занимательно, положение хорошо запутано, но Белькур говорит косо, но Шарлотта отвечает криво. — Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки — и вышел бы прекрасный оригинальный роман“ (Пушкин, т. IV, стр. 455).

Может быть, сам неосуществленный роман Пушкина должен был быть такой попыткой обновления старой романной схемы. Лиза любит Владимира и думает, что он любит ее. Владимир соблазняет Лизу и пишет о ней письма другу в Петербург. Ситуация типична для старого романа, и видно, как хотел обновить ее Пушкин. Лиза пишет:

„Чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек! Что есть общего между Ловласом и Адольфом? Между тем роль женщины не изменяется. Кларисса, за исключением церемонных приседаний, всё ж походит на героиню новейших романов. Потому ли, что [способы] нравиться в мужчине зависят от моды, от минутного мнения, а в женщинах они основаны на чувстве и природе, которые вечны“ (там же, стр. 452).

Это целая программа романа, с неизменной героиней-женщиной, с измененным мужчиной, как будто бы с разочарованием в нем.

Это попробовано и оставлено Пушкиным.

В споре об отношении к предмету, о методе его изображать Пушкиным в качестве союзника не могла быть использована традиция старого семейного романа.

Часто сама жизнь представляется Бальзаку в виде определенной вещи, сокровища, которое тратится: „шагреновая кожа“ уменьшается.

Пушкинский мир—это мир событий, а не вещей.

Между тем в „Евгении Онегине“ мы имеем очень много того, что можно несколько наивно назвать бытовыми подробностями. Я напому 24-ю строфу с описанием туалетного столика „Евгения Онегина“.

Казалось бы, что мелочные подробности, против которых восставал в новой французской прозе Пушкин, живут в его стихах.

Пушкин в первых главах „Евгения Онегина“ ведет две сюжетные линии. В одной дается жизнь молодого человека в сатирическом описании, — в этой линии ничего не происходит.

Во второй линии идет рассказ поэта о себе, рассказывается о намерении бежать за границу.

В целом художественная форма состоит из чередования этих линий.

Бальзак описание дает по ходу действия и замедляет его описанием обстановки.

. Станным сном
Бывает сердце полно; много вздру
Приходит нам на ум, когда бредем
Одни или с товарищем вдвоем.

Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит
Мгновенно прошипевшую змею;
Но кто болтлив, того молва прославит
Вмиг извергом... Я воды Леты пью,
Мне доктором запрещена унылость:
Оставим это,— сделайте мне милость.
(Пушкин, т. II, стр. 533.)

Так описывал Пушкин свои отступления в „Домике в Коломне“. Поэтому между пушкинскими описаниями и бальзаковскими — пропасть.

Ближе Пушкин к манере Стерна.

У Стерна описание противопоставлено действию, и торможение действия дано сознательно. Не столько сами описания, как метод их ввода, у Стерна пародийны.

Материал, ими введенный, противопоставлен действию.

Подробности пушкинского „Евгения Онегина“ сюжетно играют такую же роль — стернианскую.

Дело вовсе не в том, влиял или не влиял Стерн на Пушкина. У нас, к сожалению, и сейчас работы о влияниях сводятся к подбору улик, мы ищем вещи, оставленные на месте преступного заимствования. Эти признаки влияния считаются уликами, их коллекционируют. Работы о влияниях напоминают поэтому камеры хранения забытых вещей при трамвайном управлении или на вокзале. О жизни владельцев можно, конечно, получить представление по этим вещам, но только косвенно.

Тут нельзя верить даже в прямые признания. В авторских признаниях очень часто разбивают кувшин с молоком для того, чтобы плакать о гибели

любимого, — так поступила жена казненного вора у Геродота.

Стерн вытесняет из своих романов обычный повествовательный материал, но этот повествовательный материал в стерновские времена для Стерна уже условен и нереален. Важна частная жизнь человека, его отношение к предметам, его частное отношение, а мир обычный, старый является для Стерна только материалом для пародии.

Различными научными сообщениями Стерн дискредитирует феодальную науку и клерикальную ученость.

У стерновского романа есть настоящий сюжет, этот сюжет эротичен, и он идет на фоне пародированного старого сюжета.

Роман Стерна начинается с середины, с непонятного обстоятельства, с фразы, не во-время сказанной.

Отец Тристрама Шенди, обремененный болезнью бедра, имел обычай жить со своей женой в первое воскресенье каждого месяца. В этот же день он заводил часы.

Образовалась прочная ассоциация во времени.

„Не забыл ли ты завести часы?“ — спросила мать Тристрама Шенди его отца, в воскресенье, в самый неподходящий момент.

Как будто бы для того, чтобы облегчить узнавание своего художественного метода, Пушкин начинает свою вещь с фразы: „Мой дядя самых честных правил“.

Этой фразой въезжаем мы прямо в середину обстоятельств Евгения Онегина.

Пародийная последовательность частей произведения, типичная для Стерна, соблюдена Пушкиным совершенно точно. Предисловие загнано, задвинуто, оно как будто пародирует старые поэмы. Вступление идет в конце восьмой главы.

Так Стерн поставил предисловие после 64-й главы.

Стерновское построение всего ощутимее в первых главах, оно дано в методе описания, в варваризмах,

в прозаических примечаниях, в пародийности отступления, в отступлениях, которые даны к отступлениям, во всем методе написания романа.

Пушкин ощущал Стерна как великого реалиста.

Стерн увидел и сумел передать в жизни человека такие черты, которые не были известны в литературе до него.

Стерн, в противоположность Ричардсону, преодолел схематичность в изображении психологии героя.

Стерн дал психологический анализ на материале точного наблюдения.

В начале „Евгения Онегина“ стернианская манера позволяет Пушкину вести вторую линию повествования: рассказ о судьбе поэта и его намерениях. В конце „Евгения Онегина“ Стерн уже использован для передачи психологии героя.

В прозе Пушкин противопоставляет свое мироощущение мироощущению французских литераторов и борется с Бальзаком.

От Стерна в пушкинской прозе осталось полное обладание всеми формальными средствами.

Отсюда—перестановка глав в „Выстреле“, метод подачи развязки в „Метели“ и ирония автора к героине.

Отсюда же широкое пользование переосмысливающим значением эпиграфов.

В строфах „Евгения Онегина“ последние две строки изменяют смысл всего стихотворного куска.

В прозе Пушкина эпиграф связывает главу с целым рядом литературных ассоциаций и переосмысливает ее на их фоне.

Пушкин не подражал Стерну, а использовал его метод для своих целей.

Объяснять его эпиграфы только влиянием Вальтер-Скотта—это значит смотреть на литературу только одним глазом. У Вальтер-Скотта эпиграф—только орнамент.

СВЕТСКАЯ ПОВЕСТЬ

„ПИКОВАЯ ДАМА“

Мы говорили уже о „Романе в письмах“, который начат был Пушкиным в 1829 г.

В этом романе Пушкин хотел, очевидно, обновить сюжеты старого сентиментального романа.

Мы имеем прямые указания на Ричардсона.

Рассуждения Лизы сводятся к тому, что герои романов—мужчины изменились, а женщины не изменились.

В романе рассказывается об ухаживании одного молодого человека за женщиной, которую он хочет соблазнить. Он как бы ловелас неоконченного романа.

Лиза в романе — дворянка, которая воспитывается в чужом доме. Лиза рассказывает о себе, как трудно ей было и как много мелочных горестей неразлучно с положением воспитанницы.

Лиза пишет:

„Поведение со мною мужчин, как бы оно ни было учтиво, поминутно задевало мое самолюбие. Холодность их или приветливость, всё казалось мне неуважением. Словом, я была создание пренесчастное, и сердце мое, от природы нежное, час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц, дальних родственниц, *demoiselles de compagnie* и тому подобное, обыкновенно бывают или низкие служанки, или не-

сносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца" (Пушкин, т. IV, стр. 449).

Воспитанница эта уезжает к бабушке и чувствует себя дома. Здесь она встречается с Владимиром, про которого мы уже говорили. Владимир ухаживает за Лизой и за ее подругой Машей одновременно.

Очень любопытен Владимир по своему происхождению.

Вот что пишет Лиза в третьем письме:

„Нет, милая моя сваха, я не думаю оставить деревню и приехать к вам на свадьбы. Откровенно признаюсь, что Владимир ** мне нравился, но никогда я не предполагала выйти за него. Он аристократ, а я — смиренная демократка. Спешу объяснить и заметить гордо, как истинная героиня романа, что родом принадлежу я к самому старинному русскому дворянству, а что мой рыцарь внук бородастого миллионера — ты знаешь, что значит наша аристократия. — Как бы то ни было, ** человек светский; я могла ему понравиться, но он для меня не пожертвует [надеждами на знатное родство и] богатой невестой и выгодным родством" (Пушкин, т. IV, стр. 454).

Роман остался недописанным; темой его, насколько мы можем видеть, было ухаживание человека из новой аристократии за представительницей разорившейся старой аристократии.

Есть отрывок Пушкина, начинающийся словами: „На углу маленькой площади“.

Это второй вариант начала романа из великосветского быта.

В этом романе мы видим стареющую бледную даму и молодого человека, Валерьяна Волоцкого.

Валерьян Волоцкий — человек, ищущий места в среде новой аристократии. Вот отрывок его разговора с Зинаидой.

Зинаида спрашивает про бал у князя Горещкого:

„— А тебе очень хотелось быть на его бале?"

— Ни мало. Чорт его побери с его балом. Но если зовет он весь город, то должен звать и меня.

— Который это Горецкий? Не князь ли Яков?
— Совсем нет. Князь Яков давно умер. Это брат его, князь Григорий, известная скотина.
— На ком он женат?
— На дочери [какого-то целовальника, нажившего миллионы,] того певчего, как бишь его?
— Я так давно не выезжала, что совсем разнакомилась с вашим [высшим обществом]. Так ты очень дорожишь вниманием князя Григория, известного мерзавца, и благосклонностью жены его, дочери целовальника?

— И конечно, — с жаром отвечал молодой человек, бросая книгу на стол. — Я человек светский и не хочу быть в пренебрежении [у аристократии, из какой грязи, впрочем, ни была б она вылеплена], у светских аристократов. Мне дела нет ни до их родословной, ни до их нравственности" (Пушкин, т. IV, стр. 444—445).

Здесь мы видим опять молодого человека, стремящегося войти в общество.

Из этого наброска вошел в „Пиковую даму“ один эпиграф из главы II:

„Вы пишете письма в четыре страницы скорее, чем я успеваю их прочитывать“.

Отрывок относится к 1829 г. В 1833 г. Пушкин делает еще записи, уже приближающие нас вплотную к „Пиковой даме“.

Здесь есть уже и заглавие и эпиграф

«Пиковая дама»

Глава 1

А в ненастные дни
Собирались они
Часто,
Гнули — — —
От пятидесяти
На сто
И выигрывали

И отписывали
Мелом.
Так в ненастные дни
Занимались они
Делом.

Рукописная баллада.

Года четыре тому назад собралось нас в Петербурге несколько молодых людей, связанных между собою обстоятельствами. Мы вели жизнь довольно беспорядочную. [Обедали у [толстого] Андрие без аппетита, пили без веселости, ездили к С<офье> А<стафьев не>без [нужды], чтобы побесить бедную старуху притворной разборчивостию]. День убивали кое-как, а вечером по очереди собирались друг у друга [и всю ночь проводили за картами].

<II>

Теперь позвольте мне покороче познакомить вас с жизнью героини моей повести.

В одной из etc.

[Шарлота Миллер была четвертая дочь [обанкротившегося] обрусевшего немца]. Отец ее был некогда купцом второй гильдии, потом аптекарем, потом директором пансиона, наконец корректором в типографии, и умер, оставив кой-какие долги и довольно полное собрание бабочек и насекомых. Он был человек добрый и имел много основательных сведений, которые ни к чему хорошему его не привели. Германн жил на одном дворе с его вдовою, познакомился с Шарлотой и скоро они полюбили друг друга, как только немцы могут еще любить в наше в<ремя>.

Но в сей день или справедливее etc.

И когда милая немочка отдернула белую занавеску окна, Германн не явился у своего васисдаса и не приветствовал ее обычной улыбкою.

Отец его, обрусевший немец, оставил ему после себя [60 тысяч капиталу] маленький капитал; Гер-

манн оставил их в ломбарде, не касаясь и процентов, а жил одним жалованьем.

Германн был твердо etc.

<1883> (Пушкин, т. IV, стр. 595—596.)

В этом отрывке еще нет эпиграфа „Пиковая дама означает тайную недоброжелательность“.

Герман и Шарлота—оба немцы, их отношения сентиментальны и традиционны.

В дальнейшем Пушкин во вторую главу вставляет характеристику положения воспитанниц, развивая то, что было им сделано в „Романе в письмах“.

Он сохраняет даже имя героини — Лиза.

Герман остается, как и в первоначальном наброске, немцем, в нем есть элементы человека, втирающегося в чужое для него общество.

Повесть отличается от отрывков тем, что она вся стянута в один сюжетный узел.

Появление нового эпиграфа обозначает здесь перечену самого плана произведения.

Карточная терминология консервативна, и сейчас в практике гадания есть выражение: „остаться при пиковом интересе“.

Рассказ основан на понятиях карточной игры и на смысловом значении масти и фигур. Начинается он стремительно.

„Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова“.

Это одно из знаменитейших пушкинских начал, в которых указывается место и обстановка действия.

От отрывка, начинающегося словами: „Гости съезжались на дачу“, начал работу над „Анной Карениной“ Лев Толстой.

„Гости съезжались на дачу“. „Вот как надо начинать,—сказал вслух Лев Николаевич.—Пушкин наш учитель. Это сразу вводит читателя в интерес самого действия. Другой бы стал описывать гостей, комнаты, а Пушкин прямо приступает к делу...“ Лев Николаевич удалился в свою комнату и тут же набросал начало романа „Анна Каренина“, кото-

рое в первом варианте начиналось так: „Все смешалось в доме Облонских“ (П. Бирюков, т. II, 1913, стр. 204—205).

Впоследствии Толстой приписал к этому началу рассуждение о том, что „все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему“.

Здесь сказалось толстовское стремление обобщать явления.

Его стремительное начало — „Все смешалось в доме Облонских“ — давалось им как частный случай.

Пушкинское начало сразу вводит вас в середину событий. Кончились карты, утро, люди ужинают и разговаривают. „Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра“.

У Марлинского в этой обстановке дана была бы серия рассказов.

Началось бы с шутки, потом пошел бы рассказ более серьезный, и кончилось бы дело рассказом патетическим.

Пушкин дает разговор, в котором вся экспозиция:

„— А каков Германи! — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера, — отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного паролки, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!“

— Игра занимает меня сильно, — сказал Германи, — но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее.

— Германи — немец: он расчетлив, вот и всё! — заметил Томский. — А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна.

— Как? что? — закричали гости.

— Не могу постигнуть, — продолжал Томский: — каким образом бабушка моя не понтирует!

— Да что ж тут удивительного, — сказал Нарумов, — что осьмидесятилетняя старуха не понтирует?

— Так вы ничего про нее не знаете?

— Нет! право, ничего!..

— О, так послушайте...“ (Пушкин, т. IV, стр. 256.)

Тут мы имеем главных действующих лиц, данных в той характеристике, которая нужна для их столкновения.

Рассказано о молодом человеке и о старухе, которая не играет.

После ввода героев идет анекдот о том, как графиня в молодости получила от Сен-Жермена тайну трех выигрывающих карт. Рассказывается, что старуха подарила эту тайну покойному Чаплицкому.

Таким образом, повесть начинается с анекдота, в котором дана завязка, с описания карточного увлечения молодежи и с характеристики Германа, связанной с характеристикой графини.

Глава II эпиграфом имеет светский разговор.

Все эпиграфы „Пиковой дамы“, кроме эпиграфа к главе V, о котором я буду говорить отдельно, даны из малой литературы („Рукописная баллада“) или из разговоров и переписки.

Содержание рассказа несколько фантастично, а эпиграфы подчеркнута бытовые. Они как бы снижают рассказ и делают его более бытовым.

Глава II описывает старую графиню и ее воспитанницу. Эпиграф в переводе звучит так:

„— Вы, кажется, определенно предпочитаете слуганок?

— Что прикажете, сударыня? Они более свежи“.

В обществе старой графини показан Томский, который в предыдущей главе рассказал анекдот.

Из обмолвки Лизы мы узнаем, что около дома ходит инженер. После этого мы видим и самого инженера.

„Лизавета Ивановна осталась одна; она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер“.

После этого идет сцена отношений старой графини с ее воспитанницей, история самой Лизы, и, с пушкинской стремительностью, рассказано, что уже два дня под окном Лизы ходит молодой инженер.

Дальше идет характеристика Германа и рассказ о впечатлении, которое произвел на него анекдот. Под этим впечатлением бродил Герман по улице, увидел старинный дом, спросил, чей он, узнал, что это дом графини.

„Удивительный анекдот снова представился его воображению“.

Ночью Герману снятся карты:

„Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу, и опять очутился перед домом графини ***. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь“ (Пушкин, т. IV, стр. 267).

Сюжет уже построен; он построен на прямом столкновении Германа и графини и на осложненном отношении Германа и Лизы. Герман шел к графине, у него была мечта:

„Представиться ей, подбиться в ее милость, — пожалуй, сделаться ее любовником, — но на всё это требуется время“...

Лиза принимает его за человека, увлеченного ею.

В черновике план Пушкина обыкновеннее, в нем нет сложности жизнеотношений.

Третья глава имеет эпиграф:

„Вы пишете мне, мой ангел, письма на четырех страницах скорее, чем я могу их прочесть“.

Глава рассказывает о том, как Герман сперва присылал Лизе письма, взятые из немецких романов, а потом начал засыпать ее письмами, в которых выражались „и непреклонность его желаний и беспорядок необузданного воображения“.

Лиза назначает Герману свидание, в письме она невольно указывает ему путь к спальне графини. Герман проходит к графине, допрашивает ее о трех картах, графиня умирает.

Четвертая глава очень коротка, она снабжена эпиграфом из переписки:

„7 мая 18*.

Человек без нравственности и без религии“.

В этом эпиграфе как бы иронически предупреждена та оценка, которая может быть дана читателем Герману.

Лиза думает о ночном свидании. На балу она говорила о Германе.

Томский характеризовал Германа так:

„Этот Германн —лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодея“.

Лиза сидит у себя.

„Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это, уже пошрое лицо, пугало и пленяло ее воображение“.

Входит Герман.

„— Где же вы были?—спросила она испуганным шопотом.

— В спальне у старой графини,—отвечал Германн,—я сейчас от нее. Графиня умерла.

— Боже мой!.. что вы говорите?..

— И кажется,—продолжал Германн,—я причиною ее смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: *у этого человека по крайней мере три злодея на душе!* Германн сел на окошко подле нее, и всё рассказал.

Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, всё это было не любовью! Деньги,—вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его!* (Пушкин, т. IV, стр. 277).

После этой сцены Пушкин снова поддерживает тему Наполеона:

„Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила

догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну" (там же, стр. 278).

Тема бедного молодого человека, не имеющего места в жизни и добывающегося его, уже была известна к этому времени.

Очень часто этот бедный молодой человек давался в образе художника или поэта.

Жизнь его обставлялась ужасами, которые при-
нуждали его к преступлениям.

Ряд этих молодых людей завершается в русской литературе образом Раскольниковца.

В „Преступлении и наказании“ участь Дуни, которая должна выйти замуж за нелюбимого человека, самим Достоевским сближена с участью проститутки Сони.

Брак Дуни имеет своей целью добыть средства, чтобы поддержать брата.

Перед необходимостью совершить преступление Раскольников поставлен стремлением поддержать мать и спасти сестру.

Это очень традиционно, и встречается у многих писателей предшествующих, в том числе у Некрасова-прозаика и у Панаева.

Это тема бедного молодого человека, который добивается богатства во имя сентиментальных мотивов.

Пушкин изменил сентиментальную мотивировку действий „молодого человека“, давши Герману небольшое состояние.

Это человек, добывающийся места в жизни.

Пушкин косвенно называет этот образ пошлым.

Он связывает его с добродетельным немцем, с немецким буржуа.

Это самый неромантический из людей, связанных с Наполеоном.

Пятая глава начинается эпиграфом, подписанным именем мистика Шведенборга:

„В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон-В***. Она была вся в белом и сказала мне: „Здравствуйте, господин советник!“

Герман имел множество предрассудков, как характеризует его Пушкин, поэтому он решил явиться на похороны графини.

На похоронах с ним произошел обморок. За обедом Германн много пил, „против обыкновения своего“. Ночью к нему приходит призрак.

Призрак является, шаркая туфлями. Мистика дана в чрезвычайно сниженном виде.

„В это время кто-то с улицы заглянул к нему в окошко, — и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, — и Германн узнал графиню!

— Я пришла к тебе против своей воли, — сказала она твердым голосом: — но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, — но с тем, чтоб ты в сутки более одной карты не ставил, и чтоб во всю жизнь уж после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям, и скрылась, шаркая туфлями“ (Пушкин, т. IV, стр. 281),

Эта сниженная реалистическая мистика любопытна.

Мистика г-жи Рэдклифф не снабжена реалистическими подробностями, зато она в конце романа рационалистически объяснена. Все ужасы „удольфских“ тайн становятся реалистическими.

Фантастика пушкинского времени иная. На рус-

ской почве она была осуществлена в частности Погорельским.

Погорельский напечатал в „Литературных новостях“, издававшихся при „Русском инвалиде“, повесть, которая называлась „Лафертовская маковница“. Прочитав эту повесть, Пушкин написал своему брату:

„Что за прелесть Бабушкин Кот! Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Аркадием Фалалеевичем Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажимая глаза, повертываю голову и выгибаю спину. Погорельский ведь Перовский, не правда ли?“

Пушкин здесь ошибся в имени кота.

Черный кот колдуньи обратился в чиновника, который странным образом повертывал головой, из приятности выгибал круглую спину; звали его Аристарх Фалалеевич Мурлыкин.

Демонская его сущность рассказана подробно, но в то же время он дан пародийно.

„Маша смотрела из окна и видела, как Аристарх Фалалеич сошел с лестницы и, тихо передвигая ноги, удалился; но дошед до конца дома, он вдруг повернул за угол и пустился бежать, как стрела. Большая соседская собака, с громким лаем, во всю прыть кинулась за ним, однако не могла его догнать“.

Издателю „Русского инвалида“ и этого показалось мало, он дал свою развязку, в которой объяснялось, что бабушка не была колдунья.

Книга Погорельского „Двойник, или мои вечера в Малороссии“, изданная в 1828 г., содержит четыре повести, связанные между собою разговорами автора с собственным двойником. Эти повести и особенно рассказы по тону напоминают появление графини.

Например, пересказывая штиллинговскую теорию духов, Погорельский говорит, что к одному человеку приходил покойный профессор, живший прежде в той же комнате.

Призрак ничего не говорил, но делал движения губами, как будто курил трубку.

Оказалось, что покойник забыл заплатить за курительный табак.

Погорельский комментирует этот рассказ:

„Я воображаю себе, — отвечал я, — какая бы в России сделалась суматоха, если б у нас вошло в моду, чтобы люди, не заплатившие долгов своих, являлись после смерти и делали знаки!“

Призраки Погорельского ходили уже в литературе реалистичско-романтической, поэтому в них было много пародийного и бытового, — например, у призрака старого капуцина отмечался плохо выстиранный колпак, призраки католические и лютеранские ссорились, призраки кряхтели и даже издавали вредные испарения.

Манера появления „пиковой дамы“ поэтому не противоречила литературным обычаям того времени. Она пришла так, как приходит „белая женщина“ у Погорельского. Ее требования тоже обычны. Призраки 30-х годов любили завершать незавершенные свои житейские дела.

Можно сказать, что „Пиковая дама“ как призрак несколько старомодна. Между прочим, она обманывает Германа, поставив ему условие и не выполнив своего обещания.

Герман не бросает Лизу, по крайней мере это не оговорено Пушкиным; между тем туз сменился пиковой дамой, и Герман проигрывает.

Я дал подробную характеристику „Пиковой дамы“ потому, что мне важно установить отсутствие мистического содержания в повести.

Герман романтик, заключающий договор с духами, работает, исходя из мистического шаблона.

Строение повести повторяет частично строение „Гробовщика“. Ее мистичность мерцает, то появляясь, то исчезая.

Фантастичен выигрыш двух карт подряд, но проигрыш реалистичен.

Пушкин холоден по отношению к Герману. Гер-

ман одновременно и Наполеон и герой пошлого романа.

Пушкин не увлекается своим героем так, как увлечен Стендаль карьерой Жюльена из „Красного и Черного“.

Гибель героя дается с пародийным эпиграфом:

— *Атанде!*

— Как вы смели мне сказать *атанде*?

— Ваше превосходительство, я сказал *атанде-с!*“

После этого эпиграфа идет описание мании Германа, дана точная характеристика ее.

„Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германа образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил:— Как она стройна!.. Настоящая тройка червоная.— У него спрашивали: который час, он отвечал:— без пяти минут семерка.— Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком“ (Пушкин, т. IV, стр. 282).

Этот кусок несколько неожидан для Пушкина.

Может быть, в нем есть, как и во всей повести, некоторое использование гоголевской прозы.

Картина игры дана Пушкиным в сухой манере.

Он характеризует крупных игроков минимальным количеством черт, заботится, очевидно, только о том, чтобы показать, что игра шла чистая.

„Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалиясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, са-

мой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою" (Пушкин, т. IV, стр. 283).

Герман играет, выигрывает, удваивает ставку, ставит в третий раз и проигрывает.

Проигрыш мотивирован тем, что он „обдернулся“, поставил не ту карту. Герман отходит от стола.

Осуществляется эпитафия,— судьба ему говорит „атанде-с“.

В опере Лизавета Ивановна бросается в Зимнюю канавку. Опера написана на более примитивный сюжет.

Лизавета Ивановна и Герман в рассказе связаны сложнее. Лизавета Ивановна заменяет собою старую графиню; она — средство для Германа.

Пушкин устраивает судьбу Лизаветы Ивановны и награждает ее счастьем, как будто на нее передается благоволение покойной графини.

Есть известная симметрия в положении Лизы.

„Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы воспитывается бедная родственница“ (Пушкин, т. IV, стр. 286).

Образ Лизы не развернут Пушкиным до конца, но введение в повесть обедневшей аристократки, обманутой человеком нового времени, чрезвычайно знаменательно и показывает тайное недоброжелательство Пушкина к Герману. Лиза ближе ему, чем Герман.

Сама Лиза — как будто эпитафия из неосуществленного романа.

Что касается остальных эпитафий, в обычном понимании этого слова, то они все выяснены во многих работах. Например, комический диалог о предпочтении служанок, как более свежих, особенно ярок в повести, потому что „госпоже“ от роду 87 лет.

Этот эпиграф взят из зачеркнутых строчек 7-го письма „Романа в письмах“.

Туда он попал из устного рассказа Дениса Давыдова.

Вот отрывок из письма его к Пушкину:

„Помилуй, что у тебя за дьявольская память: я когда-то на лету рассказывал тебе разговор мой с М. А. Нарышкиной: „Vous préférez les suivantes“ сказала она мне: „parce qu'elles sont plus fraîches“ был ответ мой; ты слово в слово поставил это эпиграфом в одном из отделений „Пиковой дамы“. Вообрази мое удивление и еще более восхищение жить так долго в памяти Пушкина, некогда любезнейшего собутыльника и всегда единственного родного моей душе поэта. У меня сердце облилось радостью, как при получении записки от любимой женщины“ (Переписка, т. III, стр. 92).

Все эпиграфы к „Пиковой даме“ такого характера.

Их источник можно найти, но он не был известен читателям. Если сравнить их с обычным эпиграфом, то мы видим, что они здесь играют роль противоположную обычной, так сказать, разлитературивая описание.

„Пиковая дама“ была принята читателями восторженно, она была дважды отмечена в „Библиотеке для чтения“...

Сенковский написал Пушкину, прочтя первые две главы повести, большое письмо.

Сенковский хвалил в повести стиль и хороший вкус. Он говорил, что именно так и нужно писать по-русски, что так должны говорить все до купцов второй гильдии включительно; ниже Сенковский не спускался...

По стилю Сенковский сближал вещь с „несколькими страницами“ „Монастырки“.

„Монастырка“ — это повесть Погорельского.

Белинский говорил о „Пиковой даме“ холоднее:

„Пиковая дама“ собственно не повесть, а мастерской рассказ. В ней удивительно верно очерчены старая графиня, ее воспитанница, их отношения и

сильный, но демонически-эгоистический характер Германа. Собственно, это не повесть, а анекдот: для повести содержание „Пиковой дамы“ слишком исключительно и случайно. Но рассказ — повторяем — верх мастерства“ (Белинский, Полное собр. соч., М.—Л., 1926, т. XII, стр. 216).

Свет принял повесть очень хорошо. Это была, может быть, единственная вещь позднего Пушкина, имевшая успех.

Пушкин пишет:

„Моя „Пиковая дама“ в большой моде.— Игроки потируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной и, кажется, не сердятся“ (Пушкин, т. VI, стр. 404).

Светом повесть могла быть понята как анекдот о неудаче выскочки, парвеню, внесшего в карточную игру расчет и благоразумие.

Это была повесть о поражении Германа.

Для Пушкина Герман — не герой, но он знает, что Герман если не герой, то человек будущего.

Во второй половине мая 1831 г. Пушкин писал Хитрово:

„Вот ваши книги, умоляю вас прислать мне второй том „Rouge et Noir“. Я от него в восторге“ (стр. 112).

В конце того же месяца он снова пишет:

„Rouge et Noir“ — хороший роман, несмотря на фальшивую риторику, встречающуюся в некоторых местах, и на несколько замечаний дурного вкуса“ (там же, стр. 116):

На стр. 218 книги „Письма Пушкина к Е. М. Хитрово“ Б. В. Томашевский приводит заметку газеты „Figaro“ о предстоящем выходе романа, в которой отмечает странность заголовка.

В самом деле, термины рулетки, поставленные в заголовке, не имеют прямой связи с сюжетом.

Мне кажется, что название „Пиковая дама“ — игрецкий термин, связанный с названием „Rouge et Noir“ — рулеточным термином.

Герман же — это Жюльен Сорель.

Конечно, это не подражание Стендалю, это борьба с ним.

В России были такие же безвестные ученики Наполеона, как Сорель, и Пушкин о них написал.

Указания на связь „Пиковой дамы“ с „Красным и Черным“ делали в последнее время Б. Томашевский и В. Виноградов (в новой статье), М. С. Гус. Все они сближали вещи, не показывая борьбу Пушкина со Стендалем.

Остановимся на несколько минут над вопросами о стиле повести. Знаменитый писатель конца восемнадцатого века Карамзин воспитывал свой слог на переводах.

Его спросили раз: „Откуда взяли вы такой чудесный слог?“ — „Из камина“, — отвечал он. — „Как из камина?..“ — „Вот как: я переводил одно и то же раза по три и по прочтении бросал в камин, пока наконец не доходил до того, что оставался довольным и пускал в свет“.

Греч об „Истории“ Карамзина написал в своих мемуарах: „Она удовлетворяла многим требованиям (я говорю только в отношении к языку) но, воля ваша! — прежде он писал лучше. И повести его и „Письма русского путешественника“, и статьи „Вестника Европы“ написаны слогом приятным, естественным, не отвергавшим прикрас, но и не гонявшимся за красотами. Я несколько раз читал его „Историю Русского Государства“, занимаясь сочинением грамматики, разложил большую часть его периодов, исследовал почти все обороты: находил многое хорошим, прекрасным, правильным, классическим, но вздыхал о „Бедной Лизе“.

В слоге его истории видны принужденность, старание быть красноречивым, насильственное округление периодов, все искусственно, все размечено, и не то что прежде“.

Для Пушкина форма не была только внешним видом произведения:

Плавность, которой добивались различными дра-

матическими построениями, оказалась достигнутой внутренним путем. Пушкинский язык — язык богатый, точный, народный; но не нужно думать, что Пушкин писал только разговорным языком. В третьем номере „Современника“ в 1836 году Пушкин в анонимной статье написал: „Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течении веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка“.

Принято думать, что источником пушкинского прозаического языка являются его письма.

Эта мысль вряд ли верна. Первые письма Пушкина традиционны. Пушкин пишет в них часто периодами.

Письма имеют свое сюжетное построение и наполнены превосходными описаниями. В ранних письмах Пушкин как будто еще находится под влиянием Карамзина и его „Писем русского путешественника“. В 1820 году он пишет своему брату, описывая Кавказ:

„Жалею, мой друг, что ты со мной вместе не видел великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали на ясной заре кажутся разноцветными и недвижными“.

Это написано еще ритмично; дальше идет фраза: „Жалею, что ты не восходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту“. Пушкин еще пишет периодами, но добивается мысли, картины, а не слога.

Через много лет он найдет иные слова для описания облаков, точные, как будто освобожденные от насилия грамматики.

Вот как описывает облака Кавказа Пушкин в „Путешествии в Арзрум“: „Утром проезжая мимо Казбека увидал я чудное зрелище. Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось плавал в воздухе, несомый облаками“. Эти

оборванные, перетянутые тучи — действительно тучи Кавказа.

Но для того, чтобы так описать их, нужно было еще много работать. Мы знаем два черновика письма к Дельвигу, написанные из Михайловского.

Письмо совершенно литературно, оно начинается упоминанием книги „Путешествие по Тавриде“ Муравьева. Есть в этих строках еще и чувствительность, хотя Пушкин подчеркивает в письме отличие своих впечатлений от записей путешественника Муравьева. Но все время Пушкин возвращается к реальности. Приведу два отрывка: „Из Азии переехали мы в Европу (Из Тамани в Керчь, — примечание Пушкина) на корабле. Я тотчас отправился на так называемую Митридатovu гробницу (развалины какой-то башни) там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял [его] без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи — и только. Я объехал полуденный берег и путешествие М. ожило во мне много воспоминаний: но страшный переход по скалам Кикенеиса не оставил ни малейшего следа в моей памяти“.

В эпоху написания Пушкиным „Пиковой дамы“ Пушкин достиг уже величайшей простоты языка.

Он пишет кратчайшей фразой, почти не прибегая даже к прилагательным. Один из его современников так описывает манеру говорить самого Пушкина в это время: „Слог его краток и точен, чуждается всего излишнего, всего, что служит к его украшению. Он редко прибегает к метафорам, но где их употребит, там они необходимы и метки. В слове, всегда метком, и заключается его искусство. Везде чувствуешь, что мысли и нельзя было иначе выразить; в выражении его ничего нельзя изменить. Вот описание прихода Германа в дом графини. В этом описании прилагательные самые простые: погода — ужасная, ветер — мокрый“.

Просто дано и описание воспитанницы Лизы.

Упомянуто, что она „в холодном плаще“, а „голова ее убрана свежими цветами“.

Цветы — это для бала, а холодный плащ — для нее самой. В этой детали дано очень много. Обстановка дана словами: „полинялая, старинная, печальная“.

Самый неожиданный эпитет здесь — „печальный“. Потому что он приложен к слову „симметрия“.

Теперь прочтите весь отрывок, посмотрите, как коротки фразы. Их краткость слегка смягчена тем, что Пушкин вместо точек ставит точки с запятыми. Такая пунктуация при чтении дает более ровную интонацию. Но в черновых набросках Пушкина краткость фразы еще более поражает. В одном черновике Пушкин записывает фразу историка Голикова: „..... грозили ему силой, но Г. Шипов отвечал, что умеет обороняться“. Вот пушкинская транскрипция: „Шипов упорствовал. Ему угрожали. Он оставался тверд“.

Слог Пушкина краткий. Фразы его прямые. Вот отрывок из „Пиковой дамы“: „Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока.— Германн стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вослед за нею, в холодном плаще, с головой, убранною свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы,— было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо и вошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице,

отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями" (Пушкин, т. IV, стр. 270—271).

Новая пушкинская плавность достигнута при отрывистости фразы непрерывностью мысли.

Она рождена планом.

ОТХОД ОТ СЕМЕЙСТВЕННОГО РОМАНА

В 1835 г. Пушкин записывает при чтении „Путевых картин“ Гейне:

„Освобождение Европы придет из России, так как только там предрассудок аристократии не существует вовсе. В других местах верят в аристократию, одни, чтобы презирать ее, другие, чтобы ненавидеть, третьи, чтобы извлекать из нее выгоду, тщеславие и т. п. В России ничего подобного. В нее не верят, вот и всё“. (В подлиннике заметка написана по-французски, см. Полное собр. соч. Пушкина, т. VI, стр. 219).

Эта запись возможна стала только после пути, проделанного через „Дубровского“ к Пугачеву.

В анализе прозы Пушкина Белинский во многом был впереди не только современных ему критиков, но и наших исследователей пушкинской прозы, которые потратили на нее так много времени и старания.

Белинский первый дал интереснейшее сопоставление „Дубровского“ и „Капитанской дочки“:

„Дубровский“ — pendant к „Капитанской дочке“. В обеих преобладает пафос помещичьего принципа,¹ и молодой Дубровский представлен Ахиллом

¹ Белинский считал Пушкина выразителем „помещичьего принципа“, он писал, что Пушкин нападает на все то в этом принципе, что противоречит гуманности, но отстаивает и защищает самый принцип.

Конечно, здесь наш великий критик ошибся в определении идейной, принципиальной сути творчества великого поэта.

между людьми этого рода, — роль, которая решительно не удалась Гринеvu, герою „Капитанской дочки“. Но Дубровский, несмотря на все мастерство, которое обнаружил автор в его изображении, все-таки остался лицом мелодраматическим и не возбуждающим к себе участия“.

Дальше Белинский анализирует характер героини: „...Но всего лучше — характер героини, по преимуществу русской женщины. Уединенная жизнь и французские романы сильно развили в ней не чувство, не страсти, а фантазию, — и она считала себя действительно героинею, готовою на все жертвы для того, кого полюбит. Покуда ей приходилось только играть в роман, она делала возможные безумства; но дошло до дела — и она принялась за мораль и добродетель. Быть похищенной любовником-разбойником у алтаря, куда насильно притащили ее, чтоб обвенчать с развратным старичишкой, — казалось для нее очень „романическим“, следовательно, чрезвычайно заманчивым. Но Дубровский опоздал, — и она втайне этому обрадовалась, и разыграла роль верной жены, следовательно — опять героини...“ (Белинский, т. XII, стр. 217).

В этих словах Белинский подходит к реальному анализу повести.

Белинский говорил о том, что полного анализа пушкинской прозы ее современники не дали: „...Пушкин (в последний период своей жизни) перестав быть выразителем нравственной настроенности современного ему общества и... отселе он явился уже воспитателем будущих поколений. Но поколения возникают и образуются не днями, а годами, и потому Пушкину не суждено было дожидаться воспитанных его духом поколений — своих истинных судей“ (там же, стр. 28).

Сам Белинский разделил ошибку современников.

Нам, знающим „Бедных людей“ Достоевского, легче оценить „Станционного смотрителя“, мы, зная „Историю одного города“ Салтыкова-Щедрина, вернее оценим „Летопись села Горюхина“.

Поэтому и сейчас имеет смысл заново пересмотреть вопрос о „Повестях Белкина“ и проанализировать „Дубровского“ и „Капитанскую дочку“ в их связи.

Нам интересно понять, почему реальный Гринев даже Белинскому казался слабее романтического Дубровского.

„Повести Белкина“ были напечатаны Пушкиным без своей фамилии.

Они начинаются предисловием, дающим биографию вымышленного лиц — Ивана Петровича Белкина.

Белкин описан как смиренный человек, мало образованный, получивший образование у деревенского дьячка.

Одновременно с повестями Белкина Пушкин пишет „Историю села Горюхина“, в которой он снова возвращается к образу Белкина.

Автор „Села Горюхина“ сам уроженец этого села, как и Иван Петрович Белкин. Белкин „Повестей“ родился в селе Горюхине в 1798 г., автор „Истории села Горюхина“ родился там же в 1801 г. Других противоречий в биографии нет.

В тексте предисловия к „Истории“ есть даже ссылка на „Повести“.

„...Принялся я за повести, но, не умея с привычки расположить вымышленное происшествие, я избрал замечательные анекдоты, некогда мною слышанные от разных особ, и старался украсить истинную живость рассказа, а иногда и цветами собственного воображения“ (Пушкин, т. IV, стр. 138).

„Повести Белкина“ примыкают к таким произведениям, как „Вечера на хуторе близ Диканьки“, изданные пасечником Рудым Паньком, и к „Досугам инвалида“ Ушакова.

Эти книги не имели фамилии автора на титульном листе и начинались курсивом напечатанным предисловием, представляющим собой новеллу о рассказчике.

Может быть, книги эти по своей литературной

форме восходят к так называемым „пустынникам“, — правоописательным очеркам начала XIX века, которые давались как результат литературных записей смиренного, с литературой не связанного человека, выведенного в начале книги.

В ранней своей статье, написанной еще в 1819—1820 гг., Пушкин сам говорил о „пустынниках“.

Он отрицал необходимость выведения условного персонажа для циклизации очерков.

„Должно ли сперва поговорить о себе, если хочешь поговорить о других? Нужна ли старая маска Лужницкого пустынника для безымянного критика Истории Карамзина? Должно ли укрываться в чухонскую деревню, дабы сравнивать немку Ленору с шотландкой Людмилой и чувашкой Ольгою? Ужели, наконец, необходимо для любителя французских актеров и ненавистника русского театра прикинуться кривым и безруким инвалидом, как будто потерянный глаз и оторванная рука дают полное право и криво судить и не уметь писать по-русски? Думаю, что нет, и потому не прилагаю здесь ни своего послужного списка, ни свидетельства о рождении, ни росписи своим знакомым и друзьям, ни собственной апологии“ (Пушкин, т. VI, стр. 7).

Против такой циклизации высказывался тогда и не только Пушкин.

Почти то же писал Николай Полевой,

„Пустынники“ были уже архаическим жанром для правоописательных очерков, но умирал и сам правоописательный очерк.

Система циклизаций возродилась при создании новой, реалистической новеллы.

Пасечник Рудый Панько своим другом имеет Инвалида.¹ Оказалось, что для того, чтобы создать новую прозу, нужно „прикинуться безруким или кривым“.

В „Повестях Белкина“ самого Белкина не видно.

¹ См. повести Ушакова „Досуги инвалида“ (Москва, 1832).

„Повести“ построены сюжетно-сложно, с эффектными развязками, с определенным ироническим отношением к героям.

В „Барышне-крестьянке“ мы встречаем ссылки на Жан-Поля Рихтера, латинские цитаты, английские выражения, французские разговоры.

Попытки связать тон повести с образом издателя — нет.

Правда, в „Выстреле“ есть второй рассказчик, который частично совпадает с Белкиным, но и он сложнее Белкина.

В „Истории села Горюхина“ значение сказа активной и глубже.

При помощи введения наивного историка, с узким кругом знаний, со старомодной образованностью, дается пародия на обычную историю России.

Иногда пародируются и более новые явления историографии. Например, по поводу беременности пастушки историограф Белкин записывает:

„Глас народный обвинил болотного беса,— но сия сказка недостойна внимания историка, и после Нибура непростительно было бы тому верить“ („История села Горюхина“, Пушкин, т. IV, стр. 142).

Белкин вкладывает в „Историю села Горюхина“ бессознательную иронию.

Ирония получается благодаря перенесению на историю села тона рассказа о большом государстве.

Уменьшая масштаб истории, Пушкин сделал совершенно естественным показ крестьян.

Реалистический показ мужика разрушил условность обычного показа государства.

В то же время ирония Пушкина направлена не на самих героев истории, а на положение, в которое они попадают.

Мне кажется, что опытом „Истории села Горюхина“ Пушкин, создавая „Капитанскую дочку“, воспользовался не меньше, чем историей Пугачева.

Связывает Гринева с Белкиным и то, что Гринев занимается литературой.

Стихи Гринева:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть.
И, ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!

(Пушкин, т. IV, стр. 338.)

чрезвычайно подробно анализированы пушкинистами.

Не перечисляя новейших работ, можно указать на статью Чернышева, на статью проф. Петровского, заметку П. К. Симони и статью Н. Лернера... Во всех этих статьях и заметках доказывается одно: что в основу стихотворения, вероятно, положена песнь, напечатанная в песеннике Чулкова, но не в первом, а во втором издании 1776 г.

Важнее указаний о том, где это стихотворение найдено (а найти его нетрудно, потому что к песенникам приложены хорошие оглавления), тот факт, что благодаря этой песенке Гринев дан литературом.

„Я уж сказывал, что я занимался литературой. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял“ (Пушкин, т. IV, стр. 338).

Здесь Гринев оказывается не только неудачливым писателем, но и писателем уже устаревшего типа. Швабрин упрекает его именем Тредьяковского.

Образы Гринева и Белкина очень родственны, и это можно доказать даже текстуальными совпадениями, может быть, данными Пушкиным не бессознательно.

Описывая „баснословные времена“, Белкин говорит:

„... В течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек — и требовали прежнего пол-

ного дохода от имения, в десять крат уже уменьшившегося" (Пушкин, т. IV, стр. 146).

Описывая в конце „Капитанской дочки“ судьбу рода Гринева, Пушкин пишет:

„Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. — В 30 верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам“ (Пушкин, т. IV, стр. 433).

Гринева оказываются в своем имении в положении Белкина.

Это совпадение дано очень легко, но оно во времена Пушкина было гораздо более ощутимо и давало совершенно иной характер развязке „Капитанской дочки“.

„ДУБРОВСКИЙ“

В начале „Дубровского“ есть одна подробность. Говоря об отношениях Дубровского с Троекуровым, Пушкин пишет:

„[Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору. Дубровский, с расстроенным состоянием, принужден был вытти в отставку и поселиться в остальной своей деревне“ („остальной“ здесь имеет смысл „оставшейся“.—В. Ш.) (Пушкин, т. IV, стр. 616).

Здесь отъезд Дубровского в деревню связан с 1762 годом.

1762 г. — год переворота, когда был свергнут Петр III и престол заняла Екатерина II. В этом году пушкинский предок был посажен в крепость за верность Петру III.

Так говорит поэт в стихах:

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость в карантин,
И присмирел наш род суровый,
И я родился мещанин.

(Пушкин, т. II, стр. 134.)

Тема „Дубровского“ — разорившийся дворянин в столкновении с дворянином новой формации становится разбойником.

Сам Кирила Петрович Троекуров знатного рода, но поднялся благодаря Дашковой.

Дашкова обозначает здесь орловскую группу, т. е. людей, поднявшихся „из ничтожеств“ к вершине власти, тех, о которых Пушкин писал: „У нас нова рождением знатность, и чем новее, тем знатней“.

Тема дворянина-разбойника, восстанавливающего справедливость явочным порядком, в литературе того времени не редка. В романе „Семейство Холмских“ (1832 г.) есть дворянин Буянов, который восстает „против неправосудия и ябеды“.

Буянов является к богатому дворянину Праволову, который обижает вдову Свенельдову, предъявив ей фальшивую купчую на имение.

История Праволова и метод его действий напоминают действия Троекурова, но Праволов — сам ябедник, в то время как Троекуров пользуется ябедниками-консультантами.

Имения Свенельдовой уже отобраны. Буянов является в деревню Праволова с четырьмястами собаками и семьюдесятью лошадьми и вытаптывает весь господский хлеб. На другой день он поджигает все имение Праволова, нападает на чиновников земского суда, бьет Праволова и заставляет его подписать отказ от имения вдовы. Вдова к этому времени уже лежит при смерти.

Бегичев, автор „Семейства Холмских“, кончает эту историю так:

„Наследники ее (вдовы) получили имение и все убытки от Праволова, который имел счастье отыскать в целости почтенную свою шкатулку и до конца жизни никогда не говорил ни слова, хотя не мог равнодушно слышать имени Буянова“ (цитирую по второму изданию, Москва, 1833, часть 3, стр. 31—42).

Интересно отметить, что Буянов разбойничает, не переставая быть помещиком, и шайка его — дворян.

История дворянина-разбойника была уже известна в русской литературе до „Дубровского“. Пушкин не создал ее и не решил в „Дубровском“.

„Дубровский“ и у него остается разбойником, правда, имеющим в лесу укрепления с пушками.

Обратимся опять к датам. Пушкин говорит, что Дубровский вернулся в деревню после 1762 г. Определение суда, по которому было отнято у Дубровского имение, датировано 18.. г.

Датировано и вступление началом:

„Несколько лет тому назад...“ (Пушкин, т. IV, стр. 175).

Бумага, которую получает старик Дубровский, содержит ссылку на указ 1818 года (Пушкин, т. IV, стр. 178).

Но если действие „Дубровского“ происходит в конце первой четверти XIX века, то Троекурову уже очень много лет. В 1762 г. он возвысился настолько, что через несколько лет сделался генерал-аншефом, значит, ему было лет около сорока. В деревне ему остается пробыть до 1818 г. — значит. Троекурову 96 лет или больше.

По повести же ему лет 50.

Теперь посмотрим, что происходит с возрастaми действующих лиц в „Капитанской дочке“.

Повесть начинается так:

„Отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости своей служил при графе Минихе, и вышел в отставку премьер-майором в 17.. г. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина“ (Пушкин, т. IV, стр. 311).

Значит, Андрей Гринев женился не раньше 1762 г.¹, сын его мог родиться не раньше 1763 г. Действие повести самим Пушкиным относится к 1773 г., — следовательно, Гриневу во время Пугачевщины должно быть 10 лет, а по повести ему 17 лет.

¹ Упоминание имени Миниха точно дает недописанную дату — 1762 г.

Таким образом, в обеих повестях из-за упоминания 1762 г. происходит хронологическая ошибка. Троекуров должен был приехать в деревню много позднее, а Гринев — много раньше, чтобы получалось хронологическое правдоподобие.

Когда-то Гете, рассматривая гравюру Рубенса, сказал, что на ней тень от фигур падает в глубь картины, а от двери, наоборот, к зрителю. Его собеседник Эккерман заметил, что это против природы. На это Гете возразил, что в высших областях художественной практики, когда дело идет о том, чтобы картина стала настоящей картиной, художнику предоставляется свобода, и он может прибегнуть к фикции, как и поступил Рубенс, вводя в ландшафт двойной источник света. Гете привел примеры из Шекспира:

„Возьмемте только Макбета! Когда леди Макбет подбивает своего мужа на убийство, то говорит: „Я кормила грудью детей“. Правда это или нет — все равно; но леди говорит, и должна сказать это, чтоб придать тем своей речи большую силу. В дальнейшем развитии действия, когда Макдуфф получает известие о гибели своей семьи, он с дикой яростью восклицает: „У него нет детей!“ Эти слова Макдуффа противоречат словам леди; но Шекспир об этом не заботился. Он заботился о силе каждой данной речи, и как леди Макбет, чтоб придать больший вес своим словам, должна была сказать: „Я кормила грудью детей“, так ради той же цели Макдуфф говорит: „У него нет детей“. Вообще не следует понимать в слишком уж точном и мелочном смысле слово поэта или мазок живописца; скорее художественное произведение, созданное смелым и свободным духом, насколько возможно, следует созерцать и наслаждаться им при помощи такого же духа“ („Разговоры Гете“, СПб, 1905, стр. 337—340).

Но Пушкину дата нужна не для того, чтобы отсчитывать от нее годы возраста своих героев, а для того, чтобы ею характеризовать настроенность

героев (их враждебность к кругам, захватившим власть в 1762 г.).

Социальное значение всей этой истории невелико, но в то же время она очевидно остра, потому что она снова повторяется уже, как бы в пародийном виде, у Гоголя в повести „О капитане Копейкине“.¹

В „Дубровском“ Пушкин решает конфликт еще по-дворянски.

В „Дубровском“ мотивировка восстания и поведения разбойников — это „приверженность разбойников к атаману“.

Дубровский даже презирает своих подчиненных, говоря им: „Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло“ (Пушкин, т. IV, стр. 254).

Но „Дубровский“ был оставлен Пушкиным, — вещь не удовлетворила его.

Не закончив „Дубровского“, Пушкин начинает писать „Капитанскую дочку“, в которой молодой дворянин принимает участие в восстании уже совершенно реальном — в Пугачевщине.

Решив по-своему в „Пиковой даме“ тему о моло-

¹ Пародийность эта, очевидно, мало устроила цензуру, потому что повесть „О капитане Копейкине“ была запрещена, и Гоголю пришлось ее переделывать.

Совпадение повести „О капитане Копейкине“ с „Дубровским“ довольно близкое, особенно в развязке повести.

Копейкин, как Дубровский, бежит за границу и пишет оттуда программное письмо государю.

Отличие Копейкина от Дубровского, между прочим, и в том, что он не разоренный дворянин, а отставной офицер без пенсии.

Серьезность протеста Копейкина видна в тех иллюстрациях, которые делались к этой повести художником Агиным. Агин изобразил капитана Копейкина на деревяшке, пришедшего к какому-то сановнику. Швейцар, не пропускающий Копейкина, сделан с портретным сходством, и это — министр финансов. Иллюстрация была напечатана в иллюстрированном альманахе, изданном И. Панаевым и Н. Некрасовым в 1848 г.

дом карьеристе, добивающемся богатства, Пушкин через тему о дворянине-разбойнике двигался к теме о восстании, в котором народ преследует собственные свои цели и ведется собственными своими вождями.

В статье о „Капитанской дочке“ и „Дубровском“ (статья еще не напечатана) П. Калецкий показал, что „Дубровский“ и „Капитанская дочка“ не соседи, а как бы взаимно исключают друг друга. Это разные решения одной и той же коллизии.

„Капитанской дочкой“ Пушкин как бы зачеркнул „Дубровского“.

ВСТУПЛЕНИЕ К ГЛАВАМ О „КАПИТАНСКОЙ ДОЧКЕ“

Пушкин по-разному относился к своей неволе.
Иногда он писал:

Забыв и рошу и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет и брызжет воду,
И песнью тешится живой.

(Предположительно 1836 г.)

Но не выходила „живая песнь“.

Пушкин не сдавался никогда, хотя ему приходилось думать о сумасшествии как об избавлении.

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то чтоб разумом моим
Я дорожил; не то чтоб с ним
Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных чудных грез.

(Пушкин, т. III, стр. 217—218.)

Страшно не безумие, страшно то, что безумие не дает свободы.

Да вот беда: сойди с ума
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверька
Дразнить тебя придут.

Отъезд в деревню не удавался.

Сумасшествие не могло спасти.

Осталась смерть.

И в виде удачи — ссылка.

О сумасшествии, как об исходе, писал Пушкин и в еще не опубликованных черновиках „Домика в Коломне“.

Был еще другой, внутренний исход, едва ли не самый трудный.

Он состоял в том, что нужно было принять Пугачева в историю.

В упомянутой выше книге Мельгунова — Кенига авторы оправдывают Пушкина в том, что он написал „Историю Пугачевского бунта“. Обвинения были выдвинуты в 1835 г. в т. X „Библиотекой для чтения“.

Вот что пишет рецензент об „Истории“: „...самое событие, — бунт обольщенной и пьяной черни в отдаленной провинции, продолжавшийся несколько месяцев, не имевший никакого влияния на общую судьбу государства, ни в чем не изменивший хода ни внешней ни внутренней политики, не может быть предметом настоящей Истории, и, в крайнем случае, составляет только ее печальную страницу, которой, по-несчастью, мы не в праве вырвать, но которую властны перекинуть при чтении, не расторгнув тем связи повествования о целой эпохе, не расстроив в мысли ряда блестящих и утешительных событий, образующих истинную, прагматическую историю того времени“.

Вот что на это возражают Кениг — Мельгунов:
„Появление этого сочинения осуждали не совсем

справедливо: Пугачев не был простым разбойником и в политическом отношении есть явление замечательное" („Очерки русской литературы", стр. 110).

Мы видим, что самый выбор темы, к которой подошел Пушкин, был для его времени опасным, нетерпимым.

Пушкин не разоружался.

Выданный своим окружением, он сохраняет творческую свободу, говорит меньше того, что его заставляют, и в то же время полностью говорит то, что хочет.

Пушкин в это время сам часто изображал себя смирившимся и осторожным.

Обезоруженным.

В отрывке „Цезарь путешествовал" Петроний, ожидающий гибели, говорит своему другу-поэту:

„Анакреон уверяет, что Тартар его ужасает, но не верю ему — так же как не верю трусости Горация. Вы знаете оду его?

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?...
... Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно бросаю щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! Как бежал!
Но Эрмий сам внезапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей...

.

Хитрый стихотворец хотел рассмешить Августа и Мецената своею трусостью, чтоб не напомнить им о сподвижнике Кассия и Брута. Воля ваша, насколько более искренности в его восклицании:

„Красно и сладостно паденье за отчизну!"

Щит не был брошен.

О „КАПИТАНСКОЙ ДОЧКЕ“

Повторяю, тема дворянина-разбойника появилась не у Пушкина. Ново в „Дубровском“ то, что дворянин-разбойник лишается своего поместья, так сказать, деклассируется.

Дворянин-разбойник у Бегичева искоренять ябеду приходит из своего поместья со своей дворней.

Дубровский начинает с того, что он уходит из своего поместья, теряет его.

Но окончательный разрыв Дубровского с его обществом вызван не столько его решением сжечь свой дом, т. е. лишить своего врага части неправильно отнятого имущества, сколько решением Архипа-кузнеца сжечь в этом доме приказных.

Кузнец, как, вероятно, помнит читатель, имеет свой облик, свои поступки. Он запирает приказных и спасает кошку с опасностью для жизни.

Он — новый голос, появившийся в крестьянской толпе, ее герой.

В „Дубровском“ дано столкновение с приказными. Дубровский убивает офицера, но после этого распускает шайку.

Капитан Копейкин, пишущий письмо государю, как будто идет дальше в обобщении целей своего бунта.

Перед „Дубровским“ Пушкин составил план романа, действие которого происходило на Кавказ-

ских водах. В романе описывался дворянин-разбойник. Пушкин дал ему фамилию Якубович.

У дворянина был друг — кунак. Якубович вел двойную жизнь.

Этот план ближе всего к традиции разбойничьего романа.

Ход пушкинской работы ведет нас от этой повести о кавказском разбойнике к „Дубровскому“ и потом к „Капитанской дочке“.

Мы присутствуем при нарастании серьезности конфликта, положенного в основание повестей.

Планы продолжения „Арапа Петра Великого“, к которому в том или ином виде собирался вернуться все время Пушкин, тоже как-то связаны с темой восстания.

В 1831 г. произошло большое восстание военных поселян в Новгородской губернии.

Двинуть войска против восставших было очень трудно.

Сущность восстания Пушкин формулировал в письме к Вяземскому: „действовали мужики, которым полки выдали своих начальников“ (3 августа 1831 г. Переписка, т. II, стр. 296).

На приеме в Царском Селе царь сказал дворянам:

„Я должен сказать вам, господа, что положение дел весьма нехорошо, подобно времени бывшей французской революции“.

Выезд царя к восставшим был не очень благополучен, ему пришлось есть у них хлеб-соль, чтобы обеспечить себе отступление.

В 1831 г. Пушкин записывает о восстании в своем дневнике:

„Доныне государь, обладающий даром слова, говорил один; но может найтись в толпе голос для возражения. Таковые разговоры неприличны, а прения площадные превращаются тотчас в рев и вой голодного зверя“ (Пушкин, т. VI, стр. 382).

Пушкин думал о том голосе, который выделится из шума толпы, о вожде толпы.

С этими мыслями начаты были Пушкиным работы о Пугачеве.

Обращаясь к графу Чернышеву в начале 1833 г. с просьбой выдать дело о Суворове и заодно следственное дело о Пугачеве, Пушкин думал не о генералиссимусе, а об Емельяне.

Славный бунтовщик стал спутником жизни последних лет великого писателя.

ВАРИАНТЫ ПОВЕСТИ „КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА“ И ЧТО ЗА НИМИ ЛЕЖИТ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭПИГРАФАХ

Сохранилось шесть планов последней повести Пушкина.

Обычно предполагают, что в ходе работы над повестью Пушкин исходил прямо из опыта 1831 г., что для него уже тогда обозначилась невозможность либерально-дворянского компромисса с крестьянской революцией.

Это положение является частным случаем общих установок пушкинистов, у которых отзывы Пушкина о Наполеоне 1815 года переносятся на Наполеона 1817 года и у которых вообще динамика развития идей поэта чрезвычайно замедлена и высказывания его берутся в их прямом подцензурном виде.

У пушкинистов укоренилась мысль, что изучение дошедших до нас планов „Капитанской дочки“ позволяет установить, что как бы ни изменялся фабульный узор повести о Шванвиче, политические установки в процессе всех переработок начального замысла оставались неизменными. Союз Шванвича с Пугачевым мог по-разному мотивироваться, но, конечно, никогда не оправдывался.

С этим трудно согласиться, потому что в анализе планов и, главное, в анализе самой повести не обращено внимание на методы, которыми Пушкин дает образ Пугачева.

На самом деле, в развитии планов у Пушкина идет вытеснение темы внутренне-дворянского спора темой народного восстания.

Первая тема закреплена датой 1762 г.

В „Капитанской дочке“, в ее планах, она связана с именем Шванвича.

Пушкин записывает:

„[Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один из дворян не был замешан в Пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сделавшихся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали к нему.] Замечательна разность, которую правительство полагало между дворянством личным и дворянством родовым. Прапорщик Минеев и несколько других офицеров были прогнаны сквозь строй, наказаны батогами и проч. А Шванвич только ошельмован преломлением над головою шпаги. Екатерина уже готовилась освободить дворянство от телесного наказания. Шванвич был сын кронштадтского коменданта, разрубившего некогда палахом, в трактирной ссоре, щеку Алексея Орлова (Чесменского)“ (Пушкин, т. V, стр. 451).

Судьба Шванвича действительно определяется датой 1762 г.

Вариант в повести с героем Шванвичем был бы самым дворянским, этому варианту соответствуют два плана:

<1>

Кулачный бой — Шванвич — Перфильев. —

Перфильев, купец — Шванвич за буйство сослан в деревню — встречает Перфильева.

<1831—1833?>

<2>

Шванвич за буйство сослан в гарнизон.

Степная крепость — подступает Пугачев — Шванвич предает ему крепость — взятие крепости —

Шванвич делается сообщником Пугачева — Ведет свое отделение в Нижний — Спасает соседа отца своего. — Чика между тем чуть было не повесил стар<ого> Шванвича. — Шванвич привозит сына в Петербург. — Орлов выпрашивает его прощение. 31 янв. 1833. (Пушкин, т. IV, стр. 592.)

Исторически Шванвич — богатырь. Отец его — соперник по силе Орлову.

Действие в первом плане начиналось в Москве. Яицкий казак Перфильев был в делегации от войска к Екатерине.

Встреча происходит на кулачном бою. Богатыри, очевидно, оказываются равными по силе. Они дружат. Они встречаются потом, и, очевидно, Перфильев помогает Шванвичу. Когда Шванвич арестован, то другой богатырь — Орлов — выпрашивает ему прощение.

О том, как выглядит Шванвич, мы знаем из записи Пушкина.

„Шванвич такой же повеса и силач, как и они (Орловы)“. О том, что Перфильев был богатырем, мы знаем из VIII гл. „Истории Пугачевского бунта“. В описании казни Пушкин говорит:

„Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный“.

Памятью об этой „орловской“ стадии развития сюжета осталась не только дата 1762 г., но и эпиграф к главе I. У Пушкина он дан так:

Был бы гвардии он завтра ж капитан.
— Того не надобно: пусть в армии послужит.
Изрядно сказано! Пускай его потужит...

.....
Да кто его отец?

Княжнин.

Этот эпиграф взят Пушкиным из комедии „Хвастун“ Якова Княжнина. В дальнейшем я буду цитировать эту комедию по X тому „Российского Феатра“, где она была напечатана.

Реплика, которую я сейчас приведу, принадлежит
Верхолету, герою комедии, который выдает себя
за графа. Ему отвечает положительный герой. Те-
перь приведем всю сцену:

Верхолет (к Честону)

.....
Когда бы не таков он был и груб и рьян,
То был бы гвардии он завтра Капитан.

Честон

Тово не надобно, пусть в армии послужит.

Верхолет

Изрядно сказано; пускай ево потужит,
Пускай научится, как графов почитать,
И лутче бы отец ево не мог сказать.—
Но кто ево отец?

В „Словаре древней и новой поэзии“, изданном
в 1821 г., Николай Остолопов так определяет эпи-
граф:

„Одно слово, или изречение, в прозе или стихах,
взятое из какого-либо известного писателя, или свое
собственное, которое помещают авторы в начале
своих сочинений, и тем дают понятие о предмете
оных“ (т. I, стр. 398).

Вещи Княжнина, из которых Пушкин взял этот
эпиграф и эпиграф к поединку, о котором я буду
говорить позже, в пушкинское время были хорошо
известны и даже в отрывках приводились в „Учеб-
ной книге русской словесности“ Н. Греча, выдер-
жавшей к этому времени несколько изданий.

Эпиграф, начинающий „Капитанскую дочку“, для
читателя того времени говорил о гонениях, кото-
рые испытывал дворянин от ложного графа.

Этот эпиграф — не единственная неувязка, про-
изошедшая от изменения сюжетной установки во
время написания „Капитанской дочки“.

Без вины Гринев, будучи записанным в гвардию,
не мог попасть в армию, — об этом написал князь
Вяземский Пушкину:

„Можно ли было молодого человека записанного в гвардию прямо по своему произволу определить в армию? А отец Петра Андреевича так поступил, — написал письмо к Генералу и только. Если уже есть письмо, то, кажется, в письме нужно просить Генерала о содействии его к переводу в армию. А то письмо не правдоподобно. Не будь письма на лице, можно предполагать, что эти побочные обстоятельства выпущены автором, — но в письме отца они необходимы“ (Переписка, СПб, 1911, т. III, стр. 407).

В эпиграфе к главе II тоже сохранился след первоначального сюжета.

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая,
И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня.

(Пушкин, т. IV, стр. 320.)

Этот эпиграф, как и остальные эпиграфы, взятые из народных песен, найден Пушкиным в чулковском сборнике „Собрания разных песен“.

Эпиграф в основном окрашивается тем произведением, откуда он заимствован; это не просто строчка, а строчка, напоминающая о целом цикле явлений.

Песня „Сторона ль моя, сторонушка“ взята из части III собрания Чулкова. В этой песне рассказывается о судьбе молодого человека, воспитанного в неге и попавшего на чужую сторону. Кончается эта песня так:

Уберегла меня матушка,
И от ветру, да и от вихарю,
И от частого мелкого дожжичка,
Не уберегла меня матушка,
Что от службы да государевой,
От чужой дальней сторонушки.

(Цитирую по изданию Академии наук, 1913 г., стр. 583.)

Содержание песни подходит для эпитафии „орловской“ редакции. Но „прытость, бодрость молодецкая и хмелинушка кабацкая“ к Гриневу повести не подходит.

Остатком старой мотивировки посылки героя в глушь является и вопрос, который задают Гриневу при приезде:

„Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. „Смею спросить“ — сказал он; — „вы в каком полку изволили служить?“ Я удовлетворил его любопытству. „А смею спросить“ продолжал он, — „зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?“ — Я отвечал, что такова была воля начальства. „Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки“ — продолжал неутомимый вопрошатель“ (Пушкин, т. IV, стр. 332).

Таким образом, мы видим, что первый и второй планы оставили свой след в повести; Пушкин с ними жил долго.

Третий план определяется словами наброска предисловия:

„Несколько лет тому назад в одном из наших альманахов напечатан был...“

Эта отрывистая фраза, не дописанная Пушкиным, приводит нас к альманаху „Денница“ (1834 г.), в котором было напечатано описание бурана. Буран в степи, в которой встречаются герои, стал местом новой завязки повести.

Автор отрывка — Аксаков.

Совпадения настолько близки, что позволяют датировать время написания глав плана не 1833—1834 гг., а прямо 1834 годом.

Оба плана друг друга продолжают. Третий план тоже написан в 1833 г., содержит в себе указание на любовную интригу и на невесту, просватанную, очевидно, за более знатного соперника.

Действие начинается уже не в Москве.

Вот этот план:

Крестьянский бунт.— Помещик пристань держит, сын его.

Мятель — Кабак — Разбойник вожатый — Шванвич ст<арый> Молодой человек едет к соседу, бывшему воеводой — Марья Ал<ександровна?> сватана за племянника, которого не любит. М<олодой> Шванвич встречает разбойника вожатого. — Вступает к Пугачеву — Он предводительствует шайкой — Является к Марье Ал. [Вешает] Спасает семейство, и всех.

Последняя сцена. — Мужики отца его бунтуют, он идет на помощь. — Уезжает — Пугачев разбит — Молодой Шванвич взят — Отец едет просить Екатерину. — Орлов — Дидерот — Казнь Пугачева. <1833—1834> (Пушкин, т. IV, стр. 592.)

„Дидерот“, упомянутый в конце плана, жил в Петербурге с сентября 1773 г. по конец февраля 1774 г.

Пушкин знал записки княгини Дашковой, в которых приведен ее спор с Дидро о рабстве крестьян.

Поэтому предполагали даже, что Дидро должен был быть введен в повесть не для того, чтобы высказывать свои мысли, а для того, чтобы дать возможность Дашковой высказать свои сентенции: „просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок“.

Эти сентенции будто бы были очень близки и Пушкину и совпадают с сентенциями Гринева.

Думать, что в произведении, основанном на конфликте 1762 г., Пушкин будет солидаризироваться с Дашковой, значит чрезвычайно неконкретно понимать строение литературного произведения.

Кроме того, сентенции в „Капитанской дочке“ принадлежат не Пушкину, а Гриневу.

У Пушкина же все время есть снисходительно-пренебрежительное отношение к Гриневу.

Гринева — это не Дубровский, а своеобразный Белкин. „Капитанская дочка“, как я уже говорил, по сво-

им стилистическим особенностям могла бы печататься рядом с „Историей села Горюхина“.

Переходим к анализу последних планов „Капитанской дочери“.

<4>

Башарин отцом своим привезен в Петербург и записан в гвардию.— За шалость послан в гарнизон.— Поощажен Пугачевым при взятии крепости, [произведен им в капитаны и отряжен] с отдельной партией в Симбирск под начальством одного из полковников Пугачева.— Он спасает отца своего, который его не узнает.— Является к Михельсону, который принимает его к себе; отличается против Пугачева—принят опять в гвардию.— Является к отцу в Москву—идет с ним к Пугачеву.

[Старый комендант отправляет свою дочь в близкую крепость]

[Пугачев, взяв одну, подступает к другой—Башарин первый на приступе]. [Требуем в награду]

<1833—1834>

<5>

Башарин дорогой во время бурана спасает башкирца (*le mutilé*). Башкирец спасает его по взятии крепости.— Пугачев щадит его, сказав башкирцу—*Ты своею головою отвечаешь за него*.— Башкирец убит—etc.

<1833—1834> (Пушкин, т. IV, стр. 592—593).

Башарин, упомянутый в этих планах, лицо историческое.

Взяв Ильинскую крепость, Пугачев призвал к себе офицера. Вот что пишет об этой сцене Пушкин в „Истории Пугачевского бунта“:

„Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена.—*Зачем вы шли на меня, на вашего государя?* спросил победитель.— „Ты нам не государь“, отвечали пленники: „у нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь

цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец". Они тут же были повешены. — Потом привели капитана Башарина. Пугачев не сказал уже ему ни слова, велел вешать и его. Но взятые в плен солдаты стали за него просить. *Коли он был до вас добр*, сказал самозванец, *то я его прощаю*. И велел его так же, как и солдат, остричь по-казацки, а раненых отвести в крепость" (Пушкин, т. V, стр. 320).

Считают, что здесь уже происходит снижение тем вещей, так как вместо Шванвича, служившего самозванцу на ответственных командных постах, появляется Башарин, существенной роли в событиях не игравший.

Не будем касаться последнего, 6-го плана, который не дает нам нового конкретного приближения к сюжету повести, и анализируем 4-й и 5-й планы.

Спасение Башарина связано с волей самого Пугачева. В дальнейшем ходе разработки плана введен изуродованный башкирец, которого спасает в пути Башарин. Башкирец спасает его самого. Положение традиционное, часто используемое Вальтер-Скоттом.

В исторических романах, почти до нашего времени, романисты пользуются темой благодарности разбойника, который спасает героя.

Примером может служить роман Сенкевича „Огнем и мечом“. Поляк-дворянин спасает Хмельницкого, и тот потом выручает его.

У Пушкина в плане дана такая же схема. Но в повести все отношения изменены. Во-первых, изуродованный башкирец заменяется самим Пугачевым. Происходит то выдвигание Пугачева, которое началось с 3-го плана, кончающегося, как мы заметили, казнью Пугачева.

В повести действует, как покровитель героя и друг его, сам Пугачев. Изуродованный башкирец стал второстепенным, эпизодическим героем. Его допрашивает комендант, потом он принимает участие в казни коменданта.

Но главное изменение — это мотивировка помилования героя.

Пугачев милует Гринева не в виде благодарности за спасение, потому что в повести не Гринев спасает Пугачева, а Пугачев его спасает, указавши дорогу.

Помилование дано не за спасение, а в память заячьего тулупчика, полученного в подарок.

Услуга Гринева становится гораздо меньше, а великодушие Пугачева человечнее.

Реальный ход работы Пушкина над планами „Капитанской дочки“ состоит не в том, что он, не изменяя отношения к восстанию, делает своего героя-дворянина все менее ответственным за восстание, а в том, что он заменяет первый конфликт, основанный на борьбе дворянских группировок, показом самого Пугачева и конфликтом между ним и дворянином-недорослем, симпатичным, но недалеким.

Разрешение личного конфликта Гринева дается уже не в плане сговора представителей когда-то поссорившихся родов, а на обнаруживании его невиновности.

Личная судьба Гринева разрешена поездкой Маши в Петербург, но здесь разрешена фабульная, а не сюжетная линия повести.

Орловы, которые в „Дубровском“ назывались Троекуровыми, удалены из повести начисто.

Москва и Петербург, которые занимали сравнительно много места в планах, почти не даны в повести.

Пугачев сделался из эпизодического героя — главным.

Его кивок головой перед самой казнью — последний сюжетный штрих произведения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вопрос об эпитафиях к „Капитанской дочке“ еще целиком не решен, и решать его приходится заново.

Хороший знаток фольклора Николай Трубицын

заялся этим вопросом в статье „Пушкин и русская народная поэзия“, напечатанной в IV томе бродягизовского издания Пушкина (СИБ, 1910).

Но и здесь вопрос решен суммарно, а кое в чем и неверно.

„В отношении эпиграфов и содержания из народной поэзии особенно посчастливилось „Капитанской дочке“; так, во II главе взят отрывок из песни бродяжной „Сторона ль моя, сторонushка“; Шейн („Народная песня и Пушкин“, ежемесячные сочинения, 1900, №№ 5, 6, 91) полагает, что Пушкин заимствовал отрывок из „Жизнеописания Ваньки Каина“, очень популярной, особенно во второй половине XVII века, книги; к главе V дано два эпиграфа: „Ах, ты, девка, девка красная!“ и „Буде лучше меня найдешь, позабудешь“ — отрывки из народных любовных песен; первый взят, очевидно, из „Песенника“ 1780 г. или из сборника Прача 1790 г.; к VI главе — два стиха из обычной былинной запевки: „Вы, молодые ребята, послушайте“; к VII главе — запевка к песне Петровской эпохи о казни атамана стрельцов: „Голова моя, головушка“; Пушкин взял ее из сборника Новикова 1777 г. (Шейн, указ. соч., 97); к главе XII взят отрывок из свадебной песни: „Как у нашей яблоньки“. В середине главы IV упоминается известная народная песня: „Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь“, взятая, должно быть, из сборника Прача 1790 г., и в главе VIII приведена „заунывная бурлацкая“, — вернее, разбойничья песня: „Не шуми, мати зеленая дубравушка“, приписываемая Ваньке Каину; эту же песню упоминает Пушкин и в XIX гл. „Дубровского“ (стр. 63—64).

К сожалению, эти указания составлены неверно и небрежно.

Во-первых, книжка „Жизнеописание Ваньки Каина“, конечно, книга не XVII века, а второй половины XVIII, но это, вероятно, просто опечатка.

Во-вторых, песни появляются не с первого издания этой книжки, а только с 1779 г., т. е. после чулковского песенника, откуда они и взяты.

Ценнее указания статьи академика А. Орлова „Народные песни в Капитанской дочке Пушкина“. (Сб. „Художественный фольклор“, вып. II—III, М., 1927, стр. 80—95).

А. Орлов, учтя полемику Е. Ф. Будде с П. К. Симоны („Известия Отделения русск. языка и словесности Академии наук“, т. XVIII, кн. 3), пишет:

„Большинство остальных (кроме „Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь...“) народно-песенных цитаций в „Капитанской дочке“ сделаны Пушкиным по песеннику Чулкова (1770—1774 гг.) или Новикова, подбор которых, в первых четырех частях, почти вполне один и тот же... Но все же надо думать, что Пушкин скорее пользовался Новиковским песенником, чем Чулковским“.

Приведу из той же статьи суммирующую часть, интересную для меня как выражение мнения, прямо противоположного моему:

„... Пушкин очень любил эпиграфы и удачности их выбора придавал большое значение... По рукописям „Повестей Белкина“ и „Арапа Петра Великого“ видно, как тщательно подбирал Пушкин свои эпиграфы, как затем заботился о воспроизведении их в печати. С Одоевским он обсуждал эпиграфы даже для чужих статей и брал у авторов их произведения для приискания эпиграфов к главам.

Манера и искусство эпиграфирования в основе принадлежит писателям Запада. Искусство это особенно поражает в произведениях Вальтер-Скотта. Поставленные над каждой главой его романов короткие цитаты из других писателей или из народных баллад остроумно и точно соответствуют содержанию глав, их настроению, резюмируют сущность повествования, предупреждая читателя и направляя его к восприятию.

Любопытно то обстоятельство, что в эпиграфах Вальтер-Скотта цитируется вне связи с общим текстом цитируемого произведения, что цитируемое только в данном извлечении приобретает особенную силу и что поэтому чтение всего отцитова-

ного произведения не могло бы ничего дополнить к этой силе, а даже разочаровало бы. Одним словом, эпиграф-цитата Вальтер-Скотта собственно не цитата, а создание самого Вальтер-Скотта. То же наблюдаем у Пушкина и тем большее право имеем сопоставлять его „Капитанскую дочку“ в этом отношении с романами Вальтер-Скотта, что уже всеми установлено влияние этих романов на фабулу „Капитанской дочки“.

Эпиграфы „Капитанской дочки“ взяты не только из народной словесности. В некоторых главах Пушкиным выдвинуты вперед мотивы, характерные для дворянской среды XVIII века в разных стилях ее выражения, именно — мотивы столичной военщины и формалистики, военный и обывательский провинциализм, буржуазная сентиментальность, пиитический пафос, и потому эти главы освещены соответствующими эпиграфами-цитатами из стихов дворянских писателей второй половины XVIII века, с ярко выраженным стихом эпихи. Но все же основным источником освещения через эпиграф остается именно народная словесность“ (А. Орлов, стр. 94—95).

У акад. А. Орлова есть свое представление о том, каким хотел показать Пугачева Пушкин. Пушкинские эпиграфы повели его в другую сторону, но он отрезал поводья.

Уважаемый и плодовитый исследователь не принял пушкинской системы эпиграфов.

Он сумел натывать палки или, вежливо говоря, вехи, но не увидал по вехам плана и даже начал утверждать, что плана нет.

БЕЛОГОРСКАЯ КРЕПОСТЬ И ЕЕ КОМЕНДАНТ

Крепости по реке Яику стояли самые разнообразные, и не все они в военном отношении были ничтожны.

По-разному жили в них и коменданты.

Были и такие коменданты, которые, по словам самой Екатерины, являлись крупными помещиками, запахивая степь силами своих гарнизонов.

Один из таких комендантов, начальник Верхнеяицкой крепости Ступишин писал башкирцам во время восстания:

„Башкирцы! я знаю все, что вы замышляете. Только знайте же и то, ежели до меня дойдет хоть какой-нибудь слух, что вы—воры и шельмы — ждете к себе тех воров и им скот и корм и себе оружие припасаете... на вас со своей командой пойду и с пушками буду вас казнить, вешать за ноги и за ребра, дома ваши, хлеб и сено подожгу и скот истреблю... Сего числа около Верхнеяицкой пойман башкирец с воровскими татарскими письмами от злодея и ко мне оный башкирец приведен и я тому вору башкирцу велел отрезать нос и уши и к вам вора с сим листом от меня посылаю“.

Этот Ступишин замечателен еще тем, что при наступлении Пугачева оказался трусом, заперся в крепости, забрав в нее гарнизоны из соседних крепостей, умолял о помощи и Пугачева пропустил мимо.

Материал этого письма Пушкину был, вероятно,

известен, и он в Белогорской крепости показал судьбу подосланного Пугачевым башкирца.

Но тип коменданта Пушкин взял другой. Он описал офицера, выслужившегося из солдатских детей — коменданта захолустной крепости. Такие офицеры на линии были. Таким был капитан Крылов, который, правда, не занимал должности коменданта Яицкого городка, но умелыми распоряжениями спас и город и своего оробевшего начальника Симонова.

Офицер этот, отец нашего баснописца, был из драгун; семья после его смерти осталась настолько бедна, что 10-летний И. А. Крылов должен был поступить на службу писцом.

Рассказы о жестокостях русских колонизаторов остались у Пушкина в примечаниях и в текст попасть не могли по цензурным соображениям.

В заметках, представленных Николаю I как материал, который Пушкин не решился напечатать, сказано:

„Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений“.

После этого Пушкин зачеркивает следующие слова, которые остались только в черновике:

„Иных растыкали по кольям, других повесили ребром за крюки, некоторых четвертовали“.

„Остальных, — продолжает Пушкин в чистовом тексте, — человек до тысячи (пишет Рычков), простили, отрезав им носы и уши*. — Многие из сих прощенных должны были быть живы во время Пугачевского бунта“ (Пушкин, т. V, стр. 450—451).

Здесь видно, в каких тисках находился Пушкин. Он не решался даже процитировать документ.

Но запомнил он этот документ очень хорошо. Старый башкирец, принесший подметное письмо в Белогорскую крепость, происходит из этих прощенных.

Одновременно в нем восстанавливается и история башкирца, истерзанного Ступишиным.

Изувеченный башкирец должен был, как мы ви-

дели по первоначальным планам, быть одним из главных героев вещи.

В описании Белогорской крепости и ее коменданта Пушкин дал правильную картину, но не методом выделения ужасных подробностей, как это сделал бы, например, писатель натуральной школы, а методом описания ужасного как обыденного.

Попался старый башкирец. Идет допрос, насколько силен Пугачев:

«— А вот сейчас узнаем настоящую его силу — сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

«Постой, Иван Кузмич» — сказала комендантша, вставая с места. — «Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотника до розыска. Счастливо оставаться» (Пушкин, т. IV, стр. 360—361).

Здесь мы видим, что пытали в крепости часто.

Когда комендант велит пытать башкирца, то рассказчик Гринев замечает:

«...приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило» (там же, стр. 361).

Сцену пытки Пушкин не показал и заменил ее похвалою смягчению нравов. Но зато он дал точное описание башкирца. Это описание — одно из самых подробных у Пушкина.

«Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. „Эхел!“ — сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. — „Да ты видно старый волк, бывал в наших капканах. Ты знать не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?“ (там же, стр. 361—362).

Пропущена, как я уже говорил, и сцена пытки. Пушкин избежал ее тем, что дал башкирца немым. Вот это место:

„Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся: тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений“ (там же, стр. 362).

Эту сентенцию принимают за замечание самого Пушкина и сопоставляют ее с „Мыслями в дороге“ и с позицией Дашковой.

Трудно с этим согласиться.

Во-первых, как я уже говорил, Пушкин никак не мог солидаризироваться с позицией княгини Дашковой, и Дашкова вообще его мало интересовала, а если интересовала, то, как я уже доказал, враждебно.

Солидаризировать Пушкина нужно с большой осторожностью.

„Мысли в дороге“ написаны так, чтобы они могли быть напечатаны. Они напоминали читателю о запрещенном имени Радищева. Вся литературная ориентация их — радишевская. Она направлена в защиту Тредьяковского.

Пушкин пишет про Тредьяковского:

„Он имел о русском стихосложении обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков“. „Вообще изучение Тредьяковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей. Сумароков и Херасков верно не стоят Тредьяковского“ (Пушкин, т. VI, стр. 189—190).

Тредьяковский, замечательнейший русский писатель, давший в своих предисловиях к переведенной им Римской истории Роллена новую философию истории, говорящий в ней о естественном праве и всенародности, был писателем левого крыла нашей литературы.

Слова, произнесенные Гриневым, окружены совершенно уничтожающими их обстоятельствами. Сказано, например: „Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая“ (Пушкин, т. IV, стр. 361).

Даже в „Ревизоре“ можно прочесть жалобу купцов на городничего:

„А если что, велит запереть двери: „Я тебя“, говорит, „не буду“, говорит, „подвергать телесному наказанию или пыткой пытать — это“, говорит, „запрещено законом, а вот ты у меня, любезный, поешь селедки“ (Гоголь, „Ревизор“, изд. Маркса, СПб, т. III, стр. 257—258).

Таким образом то, что высказывает Гринев, во время написания „Капитанской дочки“ было или иронией или только пожеланием.

История коменданта заканчивается тем, что когда его вешают, то на перекладине виселицы „очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича вздернутого на воздух“ (Пушкин, т. IV, стр. 370).

Делая исполнителем казни коменданта пытанного им башкирца, Пушкин изменяет значение казни, превращая ее в возмездие.

ПУГАЧЕВ И ПУГАЧЕВЦЫ В „КАПИТАНСКОЙ ДОЧКЕ“

ОБ ЭПИГРАФАХ СНОВА

Сумароков описывал Пугачева в „Стансах городу Симбирску“, напечатанных в IX томе собрания сочинений Сумарокова (2-е изд., 1787 г., стр. 95):

Рожденна тварь сия на свет бессильной выдрой;
Но ядом напоясь, который рыжет Нил,
Сравняться он хотел со баснословной гидрой:
Явился крокодил.

Но и во времена Пушкина сохранилась отчетливая семантика звериных образов. В „Горе от ума“ Загорецкий в явлении 21-м говорит:

. А если б, между нами,
Был цензором назначен я,
На басни бы налег; ох! басни смерть моя!
Насмешки вечные над львами! над орлами!
Кто что ни говори:
Хотя животные, а все-таки цари.

Глава X „Капитанской дочки“ называется „Осада города“. Эпиграфом к ней идет:

Заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.

За станом повелел соорудить раскат,
И в нем перуны скрыв, в нощи привезть под град.

Херасков.

(Пушкин, т. IV, стр. 387.)

Осаду ведет Пугачев.

Здесь он в первый раз назван орлом.

Еще любопытней становится этот эпиграф, если
проследить его происхождение.

У Хераскова он выглядит так:

Меж тем Российский Царь, заняв луга и горы;
С вершины, как орел, бросал ко граду взоры;
За станом повелел соорудить раскат,
И в нем перуны скрыв, в нощи привезть под град.¹

Место, из которого взят отрывок, рассказывает
о том, как Иван Грозный брал Казань.

Мы видим, что ассоциировалось для Пушкина с
образом Пугачева.

Насколько отчетливы были для Пушкина ассоци-
ации Пугачев — Иван Грозный, видно из анализа
эпиграфа к гл. VI—Пугачевщина:

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будем сказывать.

Песня.

(Пушкин, т. IV, стр. 354.)

Песня эта взята Пушкиным, вероятно, из собрания
разных песен М. Чулкова (СПб, 1770), напечатана
она там на стр. 156 под № 125.

Привожу ее начало:

Вы, молодые ребята послушайте,
Что мы старые старики будем сказывать,
Про грозного Царя Ивана про Васильевича,
Как он наш Государь Царь под Казань город ходил,

¹ Херасков, „Россияда“. Эпическая поэма. Песнь первая на де-
сять, в кн. Творения М. Хераскова, вновь исправленные и до-
полненные, ч. I, стр. 224.

Под Казанку под реку подкопы подводил,
За Сулай за реку бочки с порохом катал,
А пушки и снаряды в чистом поле расставлял,
Ой Татаре по городу похаживают,
И всяко грубиянство оказывают,
Они грозному Царю насмеваются,
Ай не быть нашей Казани за белым за Царем.

С Пугачевым здесь ассоциируется именно Грозный. Ассоциации эти отчасти объясняются тем, что Пугачев широко пользовался подкопом, хорошо зная минное дело. Таким образом было совпадение в тактике Грозного и Пугачева.

В главе V „Истории Пугачевского бунта“ написано:

„Гарнизон приготовился; ожидали взрыва и приступа. Не прошло и двух часов, как вдруг подкоп был приведен в действо; колокольня тихо зашаталась. Нижняя палата развалилась и верхние шесть ярусов осели, подавив нескольких людей, находившихся близ колокольни“. (Пушкин, т. V, стр. 334—335).

Песня, начинающаяся словами „Вы, молодые ребята...“, тоже рассказывает о подкопе.

Окончательно уточнить отношение Пушкина к Пугачеву помогает нам XI глава, названная Пушкиным „Мятежная слобода“.

Начинается она так:

В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
„Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?“
Спросил он ласково.

А. Сумароков.

Я тщательно перечел Сумарокова, сразу не поверив в этот эпиграф. В нем ход стиха не сумароковский.

У Сумарокова источника этого эпиграфа я не нашел.

В сборнике „Рукою Пушкина“, на стр. 221, находится следующее воспроизведение пушкинского черновика:

Глава XI

Мятежная слобода

[В то время лев]

[Лев спросил без гнева]

[без страшна рева]

(За чем пожаловать изволил в мой вертеп?
лев

(В ту пору [был] был сыт хоть
хоть он

Сказал лев ласков духом [и] свиреп)

В ту пору Лев был сыт

хоть с роду он свиреп

За чем пожаловать изволил в мой вертеп?

Спросил

[Сказал] он ласково

А. Сумароков.

Составители сборника делают следующее примечание:

„Запись в тетради № 238, представляющая эпиграф к главе XI „Капитанской дочки“. Время написания этой главы не поддается точному определению. В конце рукописи „Капитанской дочки“ имеется дата: „19 октября 1836“. Возможно, что и XI глава написана в этом же году.

Впервые транскрибируемый нами текст эпиграфа дает повидимому картину творчества Пушкина, а не записи стихов Сумарокова по памяти. Что стихи — сочинение Пушкина, стилизовавшего под Сумарокова, подтверждается и тем обстоятельством, что у Сумарокова их нет“.

Картина работы Пушкина, очевидно, такая: он пишет черновик стихотворения, решает систему рифм, потом подводит черту и пишет чистовой вариант, заменивши в нем только одно выражение уже после записи.

Это не напоминает процесса восстановления чужого стихотворения в памяти.

Черновик более стилизован под старое стихотворение, чем беловик.

Слово „вертеп“, благодаря присутствию в стихотворении образа льва, воспринимается в старинном значении этого слова—„пещера“. (См. Словарь Академии российской, СПб, 1806, часть I, стр. 449).

Сумароков к этому времени уже был основательно забыт, и Пушкин мог решиться отнести стихотворение на счет забытого поэта.

Пушкин тут был прав уже потому, что пушкинисты не догадались об апокрифичности авторства Сумарокова до тех пор, пока не нашли документов.

Ссылка на Сумарокова позволила Пушкину назвать Пугачева львом.

В той же главе сам Пугачев рассказывает Гриневу сказку:

„Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на-всё только тридцать три года?—Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать, да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!“ (Пушкин, т. IV, стр. 406).

При помощи эпиграфа, нарочно написанного и снабженного указанием на Сумарокова, при помощи калмыцкой сказки Пушкин в одной главе называет Пугачева львом и орлом, т. е. по поэтическому словарю того времени точно называет его царем.

Пушкин ведет всю повесть, с одной стороны, на эпиграфах из старых книг, пародийно взятых для Гринева, а с другой стороны—на эпиграфах, взятых из народных песен, окружающих Пугачева.

В черновике „Плана издания русских песен и статьи о них“ (т. VI, стр. 169-170) Пушкин писал:

Но есть одно в осн<овании?>
Оригинальность отрица<ния?>

В конце плана он записывает:

„Новейшее влияние. Мера, рифмы (*неразб.*), Сума-роков.

Свадьба: — Семейственные причины. Элегический их тон. Лестница чувств.

<1832—1833>

Эта запись показывает, как отчетливо разбирался Пушкин в народной поэзии.

„Оригинальность отрицания“ — это описание в песнях, типа свадебной, взято в эпиграф XII главы:

Как у нашей у яблоньки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.

Свадебная песня.

(Пушкин, т. IV, стр. 407.)

Эпиграф этот применен к Маше.

См. в статье А. Орлова (сб. „Художественный фольклор“, М., 1927, вып. II—III).

„Пушкин отличает „песню народную“ от старинной.

Пример народной:

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду плечени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.

Песня народная.

Буде лучше меня найдешь, позабудешь,
Если хуже меня найдешь, вспомняешь.

То же.

Пример „старинной песни“ — „Сторона ль моя, сторонушка“ (эпиграф ко второй главе).

У Чулкова, Новикова, Прача и др. мы не нашли свадебной песни для невесты-сироты, песни, известной во многих вариантах по записям из уст. Три вида этой сиротской песни записаны самим Пушкиным; для нас важен самый краткий из них:

Много, много у сыра дуба
Много ветвей и поветвей,
Только нету у сыра дуба
Золотыя вершиночки:
Много, много у княгини души
Много роду, много племени,
Только нету у княгини души
Нету ее родной матушки.
Благословить есть кому,
Снарядить некому.

Эта песня напоминает эпиграф к XII главе „Капитанской дочки“ (сирота): „...Мы... думаем, что эпиграф к XII главе прямо сочинен Пушкиным как на основании своей записи с дубом, так и не без влияния особой, ему известной песни с яблонью“. („Худ. фольклор“, стр. 85-86.)

Гринеv характеризуется обычно эпиграфами из комедий и один раз — из „старинной песни“.

Маша характеризуется свадебной песней, как Татьяна, и отрывками из двух народных песен.

Отношения Маши и Гринева характеризованы песнями, взятыми из песенников, но написанными или под влиянием Сумарокова, или неканоническими стихами авторов известных.

Эпиграф к главе IX:

Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться,
Грустно, будто бы с душой.

Херасков.

(Пушкин, т. IV, стр. 381.)

Это взято из песенки, первый куплет которой звучит так:

Вид прелестный, милы взоры!
Вы скрываетесь от глаз;
Реки и леса и горы
Разлучат надолго нас.

(„Песни русских поэтов“, стр. 17.)

Это стихотворение Херасков не помещал в собрание своих сочинений, но, по словам И. Н. Розанова, из сборника которого („Песни русских поэтов“, М.—Л., 1936) я беру текст песни, она была популярна в песенниках.

Подражания этой песне записывались фольклористами в XIX веке.

Теперь перейдем снова к эпиграфам, которые характеризуют Гринева.

Эпиграфы, относящиеся к дворянской половине героев,— другого характера: они взяты из Княжнина, Фонвизина.

Вот их пример:

— Ии изволь и стань же в позитуру.

Посмотришь, проколю как я твою фигуру.

(Пушкин, т. IV, стр. 336.)

Эпиграф этот взят из комедии Княжнина „Чудаки“— явление 12-е (цитирую по 41-му тому издания „Российский Феатр“. СПб, 1794, стр. 112).

Пролаз, пугая своего соперника, говорит:

Ии изволь и стань же в позитуру.

Увидишь, проколю как я твою фигуру!

Да от чего, скажи, ты кажешься толстей?

За час ты тоне был.

Работа Пушкина с эпиграфами, как мы видим, чрезвычайно тонка и смысловым образом определяет произведение.

Каждый герой имеет свою особую систему „эпиграфического окружения“.

Для анализа Пушкина, как это видно хотя бы при исследовании „Евгения Онегина“, нужно исследовать всю совокупность черт художественной формы произведения.

Произведение может быть определено только тогда, когда мы анализируем и эпиграфы, и примечания, и даже пропущенные строфы.

Пушкин часто строил стихи не с одним прямым значением. Чаще всего второй смысл стихотворения давался в вещах, политически опасных.

Реже второй план эротичен¹.

Положительное изображение Пугачевщины дано Пушкиным не только в эпиграфах.

Эпиграфы должны были только давать читателю определенный ключ к пониманию.

Вот как описывает Пушкин военный совет Пугачева:

„Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъясняли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкой. Все обходились между собою как товарищи и не

¹ Когда Пушкин в стихах об Андре Шенье говорит:

„Убийцу с палачами избрали мы в цари“ — то его объяснение, что здесь надо подразумевать Робеспьера и конвент, — не убедительно. Убийцей с палачами может быть и Александр.

В показаниях, данных 28 января 1827 г., опять поражают сознательные двусмысленности.

Пушкин про эту строку пишет:

„Все сии стихи никак без явной бессмыслицы не могут относиться к 14 декабрю“.

Между тем его показания обозначают только, что если вы признаете эти строки относящимися к 14 декабря, то это будет обозначать, что вы Николая считаете убийцей, а генералов его — палачами.

оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приходе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом!" (Пушкин, т. IV, стр. 377—378).

К этому месту нужно, в качестве примечания, привести не вошедшую в текст „Истории Пугачевского бунта“ заметку Пушкина (эти заметки были представлены Пушкиным Николаю I как материал, который он не решился напечатать):

„Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к достижению своей цели. Правительство с своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно“ (Пушкин, т. V, стр. 454).

Любопытно отметить, что в „Капитанской дочке“, как и в „Дубровском“, дана одинаковая деталь разбойничьего лагеря. В „Дубровском“ караульщик кончил свою работу... „сел на пушку верхом и запел во всё горло меланхолическую старую песню:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне молодцу думу думати“.

(Пушкин, т. IV, стр. 251.)

В „Капитанской дочке“ Пугачев говорит:

„Затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! начинай!“—Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне доброму молодцу думу думати...”

(Пушкин, т. IV, стр. 378.)

П. Гринев дает оценку этой сцены, несколько выходя из своего обычного словаря.

„Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным,— всё потрясало меня каким-то психическим ужасом“ (Пушкин, т. IV, стр. 378).

Эта сцена сменяется изображением самого Пугачева:

„Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостью, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему“ (Пушкин, IV, стр. 379).

Никакой иронии или жалости к Пугачеву Пушкин в своей повести не дает, потому что Пугачев его весел и насмешлив.

Пушкин показывает Пугачева в окружении народной песни, которую сам так любил.

Он переносит на него царственные атрибуты старой поэзии.

В „Истории Пугачева“ он сближает Емельяна со Степаном Разиным, которого называл „единственным поэтическим лицом русской истории“ (письмо Л. С. Пушкину, 1824 г., конец октября, Переписка, т. I, стр. 141).

Другое сближение Пугачевщины с Разинщиной было дано Пушкиным в его „Истории“ и вызвало возражение Николая.

В главе V Пушкин дал следующее место:

„Жены и матери стояли у берегов стараясь узнать между ими своих мужей и сыновей. В Озерной старая казачка (Разина) [целый] каждый день бродила над Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: не ты ли мое детище? не ты ли мой Степушка? не твои ли черны кудри свежа вода моет? и видя лицо незнакомое тихо

отталкивала труп" („Литературное наследство", пушкинский номер, стр. 528).

Пушкин, конечно, знал, для чего он это пишет и почему имя и фамилия казака взяты разинские.

Николай тоже знал, что делает, когда на полях написал: „Лучше выпустить, ибо связи нет с делом".

В другом месте Пушкин сближает уже три имени: Разин, Пугачев и Петр I. 6 октября 1834 г. Пушкин записывает:

„Когда Пугачев сидел на Меновом дворе, праздные москвичи, между обедом и вечером, заезжали на него поглядеть, подхватить какое-нибудь от него слово, которое спешили потом развезить по городу. Однажды сидел он задумавшись. Посетители молча окружали его, ожидая, чтоб он заговорил. Пугачев сказал: „Известно по преданиям, что Петр I, во время персидского похода, услыша, что могила Стеньки Разина находилась недалеко, нарочно к ней поехал и велел разметать курган, дабы увидеть хоть кости славного бунтовщика— вот какова наша слава! Это сказка—Разин никогда не был погребен в краях, где он свирепствовал, он был четвертован в Москве. Тем не менее сказка замечательна, особенно в устах Пугачева" (Пушкин, Временник Пушкинской комиссии, 2, стр. 435).

Полной картины Пугачевщины в „Капитанской дочке" Пушкин дать не мог. Не показал он маневренности боя Пугачева, храбрости башкир, про которых сам в „Истории Пугачевского бунта" писал, что в одном бою они погибли „Все, кроме одного, насильно пощаженного" (Пушкин, V, стр. 350).

Но Пушкин сумел дать характеры пугачевцев.

У Пугачева одним из военачальников был горнорабочий Хлопуша, клейменный, с вырезанными ноздрями.

Этот Хлопуша в ответ на реплику Пугачева, что он прикажет повесить Швабрина, возражает так:

„Прикажи слово молвить,— сказал Хлопуша хриплым голосом.— Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься

его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казняя их по первому наговору" (Пушкин, т. IV, стр. 432).

Пушкин в „общих замечаниях“ говорит:

„Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны. (NB. Класс приказных и чиновников был еще малочислен, и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних были в шайках Пугачева. Шванвич один был из хороших дворян)“ (Пушкин, т. V, стр. 453).

Наш анализ планов Пушкина и есть анализ изменений повести. Повесть взяла в качестве основного конфликта не историю оппозиционного дворянина, а картину народного движения.

Линия Гринева в повести разрешена как второстепенная.

Слить в одном узле дворянскую оппозицию и народное восстание оказалось невозможным, и Пушкин отказался от этой мысли,— он перерос этот конфликт.

В словах старика Гринева он дал и анализ невозможности слияния:

„Как!— повторял он, выходя из себя.— Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой страдал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..“ (Пушкин, т. IV, стр. 426).

Когда Пушкин изменил и ослабил роль Гринева, то вместо примирения с правительством,— темы, которая, вероятно, лежала в основе плана исторического романа („Арап Петра Великого“),— ему понадобилась тема обнаружения недоразумения.

Тогда появился мотив „благородного молчания“ Гринева в ответ на оговор Швабрина.

Для Пушкина эта тема не была центральной, поэтому и другой сюжетный ход — донос Швабрина на Гринева родителям — остался у него только намеком:

„Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении?... Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством“ (Пушкин, т. IV, стр. 351—352).

Этот момент почти не развернут.

Второй раз Швабрин активизирован в доносе на Гринева, когда он обвиняет его в измене.

Донос этот потребовался в повести, когда Пушкин лишил Гринева вины.

В старых набросках планов за действительную вину сына просил помилования старик-отец у своих политических соперников.

При новой ситуации Маша является причиной молчания, и развязка дана уже на моральной коллизии.

Маша не боится за себя так, как боится за нее Гринев.

Это перенесло центр развязки повести на нее.

Кроме того, в данном конкретном случае нужно сказать, что к Маше у Пушкина такое же отношение, как к Пугачеву. Я подкрепляю это несколько неожиданное заявление тем, что Маша характеризуется народными песенными эпиграфами. Правда, использованы не только народные песни, но и песни, испытавшие уже на себе литературное влияние.

От окружения Екатерины она отделена совершенно.

Изображая примиренность Радищева в своей статье, предназначенной для „Современника“, Пушкин писал:

„Смиранный опытностью и годами, он даже переменил образ мысли, ознаменовавший его бурную и кичливую молодость.

Он не питал в сердце своем никакой злобы к "прошедшему, и помирился искренно с славной памятью великой царицы" (т. V, стр. 248).

Как я доказываю дальше, статья о Радищеве для Пушкина чрезвычайно автобиографична — это раздумье о капитуляции и мысли о новой борьбе.

Статья писалась в 1836 г., одновременно с „Капитанской дочкой“.

Вряд ли Пушкин искренно примирился с образом великой царицы.

Вряд ли случаен для повести самый выбор цитат из Княжнина.

Княжнин был жертвой Екатерины.

Пушкин писал в 1822 г.:

„Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фон-Визин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность“ (т. VI, стр. 22).

Не только примирение с Екатериной, но самое изображение ее было чрезвычайно тяжело для Пушкина.

Теперь перейдем к анализу самого изображения.

В нем видна методика сопротивления Пушкина.

Пушкин очень хорошо знал екатерининский материал, но при показе императрицы пошел самым официальным путем и удовлетворил этим цензуру.

Надо вспомнить, что Миронова приехала в Петербург, вероятно, в середине сентября ст. ст. и что погода была настолько холодна, что женщина, у которой она остановилась, боялась после ранней осенней прогулки за здоровье молодой девушки.

В это же время по саду утром гуляла императрица в легком летнем платье.

Почему ей понадобилось простуживаться?

Потому, что она пришла в сад прямо с портрета, и Пушкин ее не хотел переодевать.

Написать повесть из эпохи Пугачевщины без Екатерины невозможно, тем более, что Николай действительно относился к памяти своей бабушки почитательно.

За гравировку портрета Боровиковского, оригинал которого относился к 1791 г., гравер Уткин получил в 1827 г. бриллиантовый перстень.

Ландшафт к портрету гравировал Чесский. На гравюре была изображена Екатерина с собачкой. Недоконченная гравюра была отправлена английскому художнику Скотту, который поправил ноги собачке.

Этот портрет представляет собою совершенно официальный образ Екатерины и в то время был всем известен.

Пушкин описал Екатерину точно по этому портрету, хотя на портрете Екатерина дана так, как она выглядела в 1791 г., а предполагаемая встреча Екатерины с Мироновой происходила, вероятно, в 1774 г.

Пушкин, по-моему, демонстративно не прибавил и не убавил от портрета ни одной черты. На портрете изображена Екатерина в утреннем платье, в ночном чепце, собака около ноги; за Екатериной деревья и памятник Румянцеву; на лице императрицы легкая улыбка, лицо ее румяно и полно.

Пушкин дал Екатерину сидящей в этом костюме, но оставил памятник как приметку, указывающую на портрет. У него сказано: „Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева...“ и дальше сказано: „...Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника“ (Пушкин, т. IV, стр. 428—429).

Для читателя времен Пушкина этого было достаточно, чтобы понимать официальность изображения.

Мне кажется, что Пушкин сознательно держался за официальный образ, не желая ничего прибавлять от себя.

На картине Боровиковского Екатерина—в легком летнем слегка голубоватом платье и ночном нарядном чепце.

Но встреча ее с Марьей Ивановной должна происходить осенью, в сентябре. Погода оказывается

не по костюму, потому что сам Пушкин пишет, что „солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени“.

Тогда Пушкин изменяет одну деталь.

Екатерина была „в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке“ (Пушкин, т. IV, стр. 429).

„Душегрейка“ или „душегрея“, по Словарю Академии Российской 1809 г., часть II, стр. 295, — 1) Род простонародной женской одежды, без рукавов, на груди с выемкой. 2) Фуфайка.

Душегрейка под платьем не видна, но она позволяла Пушкину не переодевать императрицу по сезону, оставить ее характеристику официальной, не ему принадлежащей.

Благодаря этому Екатерина остается портретом, и весь интерес читателя принадлежит Марье Ивановне.

Именно в развязке Пушкин использует положение, уже созданные Вальтер-Скоттом.

Развязка состоит из соединения условного портрета с условными положениями. Я имею в виду те сближения с „Эдинбургской темницей“ Вальтер-Скотта, которые проследил Н. О. Лернер.

Царское Село дано почти без подробностей, все описание сада занимает пять строчек, дворец не описан совершенно; сказано только, что героиня „прошла длинный ряд пустых, великолепных комнат“ (Пушкин, т. IV, стр. 431). Кабинет Екатерины не описан, и весь эпизод закончен так:

„В тот же день Марья Ивановна, не любопытствуя вглядываться на Петербург, обратно поехала в деревню“ (там же, стр. 432).

Лаконичность эпизода, отсутствие описаний выделяется даже среди пушкинских, вообще говоря, коротких описаний.

Лаконичность эта подчеркнута последним появлением Пугачева в повести.

Пушкин пишет от своего имени, как бы заканчивая историю Гринева:

„Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу“ (т. IV, стр. 432—433).

Мне кажется, что в своих заметках я доказал характер отношения Пушкина к Пугачеву.

Отождествлять Пушкина с Вяземским и со способными людьми, но не гениями, его времени — нельзя.

Вещи Пушкина, конечно, не написаны тайнописью, но он всеми способами добивался возможности писать так, как хотел.

Это ему удалось.

„Смирись!“ — говорили Пушкину, но он не мог смириться, смирение было чуждо ему.

Гоголь писал:

„Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет“.

Пушкин говорил об ангеле вдохновения:

И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

(Пушкин, т. II, стр. 15.)

Это нужно было для того, чтобы говорить слова будущего, для того, чтобы через столетие, значение которого удвоили революции, притти к сегодняшнему читателю.

Пушкин понят сейчас нами — своими истинными современниками.

Пушкин мог сказать, как сказал про себя Маяковский, —

Вижу идущего через годы времени,
Которого не видит никто.

Передоновская легенда (был такой герой в „Мелком бесе“ Федора Сологуба) о реакционности Пушкина возникла тогда, когда была потеряна живая традиция восприятия Пушкина и не было создано истории литературы.

О СУДЬБЕ ПИСАТЕЛЯ

„ПАМЯТНИК“ И „ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ“

Пушкин жил в Петербурге.

30 августа 1834 г. было назначено торжественное открытие Александровской колонны.

Выше крыш домов поднялись две фермы, собранные из толстых дубовых брусьев.

Между ними на сотнях веревок висело тяжелое тело колонны.

Колонну поднимали не машинами, ее поднимали вручную 1440 гвардейцев с 60 унтер-офицерами и 300 матросов гвардейского экипажа со своими 15 унтер-офицерами.

Люди были расставлены у ворот по 40 человек.

Огромная отсталая страна воздвигала памятник рабским трудом, на основе отсталой техники.

Так работали, подымая обелиски, в Египте.

Машины были заменены толпами людей.

Колонна была поднята и долго стояла лишенная наглавия.

Потом подняли наверх ангела с крестом.

Государь был очень доволен.

„Монферран, вы себя обессмертили“, — сказал он строителю.

30 августа 1834 г. колонна была торжественно открыта. Пушкин занес в свой дневник 28 ноября:

„Я ничего не записывал в течение трех месяцев. Я был в отсутствии — выехал из Петербурга за 5

дней до открытия Александровской колонны, чтоб не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами, — моими товарищами..." (Пушкин, т. VI, стр. 417).

Но торжество преследовало его: он получил III том „Библиотеки для чтения“. Номер открывался стихами А. Маркова „Открытие памятника императору Александру I“.

По-русски брата царь прославил.
Из недр земли он взял скалу
И пред дворцом своим поставил.

Событие это происходило в день царских именин, поэтому следующее стихотворение, написанное Иваном Козловым, кончалось так:

О, с нами бог! ура! ура!

Весь поэтический отдел этого номера кончался небольшим стихотворением А. Бистрома, тоже датированным 30-м августа:

На открытие памятника Александру I

„Воздвигну!“ Рек:— и мощною рукой
Отторгнув от скалы гигантскую громаду,
И водрузил глагол о славе вековой,
И завещал его Петрову граду.
Века пройдут над ним дивясь и вторя клики:
Благословенному Великий!

Печально выглядит среди этих стихов элегия Пушкина:

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море,
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

В эти колонные годы, когда даже на деньгах было вычеканено изображение нового монумента, Пушкин

думал о другом памятнике: он писал „Медного всадника“ и „Капитанскую дочку“.

„Медный всадник“ напечатан быть не мог, кроме отрывка. Работа с „Капитанской дочкой“ затягивалась.

Долги увеличивались. Был и литературный долг. Приходилось писать, потому что ждали книги о победоносной войне.

Еще весной 1828 г. получил Пушкин от Николая I и Бенкендорфа отказ на просьбу о разрешении быть в действующей армии.

Он поехал без разрешения; встречался с декабристами; был на фронте.

Поездка его вызвала крайнее неудовольствие.

Если он поехал самовольно, то от него ждали хотя бы прославления войны, самовольно увиденной.

Маленькие отрывочки „Путешествия“ Пушкин напечатал в „Литературной газете“ в 1830 г. под заглавием: „Военно-грузинская дорога“.

Но от него требовали оды.

„Северная пчела“ настаивала на этом совершенно недвусмысленно.

Вот отрывки из ненапечатанного предисловия к путешествию:

„В 1829 году отправился я на Кавказские воды. В таком близком расстоянии от Тифлиса, мне захотелось туда съездить для свидания с братом и некоторыми из моих приятелей. Приехав в Тифлис, я уже никого из них не нашел. Армия выступила в поход. Желание видеть войну и сторону мало известную побудило меня просить у его сиятельства графа Паскевича-Эриванского позволения приехать в армию. Таким образом видел я блистательный поход, увенчанный взятием Арзрума.¹

Журналисты как-то о том проводили. В газете (политической) побранили меня не на шутку за то,

¹ Здесь Пушкин повторяет свое официальное объяснение поездки.

что по возвращении моем напечатал я стихотворение, не относившееся ко взятию Арзрума. Мы надеялись, писал неизвестный рецензент, и проч. Один из московских журналов также пороптал на *Певунов*, не воспевших успехи нашего оружия.

Я, конечно, <не> был обязан писать по заказу гг. журналистов. К тому же частная жизнь писателя, как и всякого гражданина, не подлежит обнародованию... Нельзя было бы, например, напечатать в газетах: Мы надеялись, что г. прапорщик *такой-то* возвратится из похода с Георгиевским крестом, вместо того вывез он из Молдавии одну лихорадку. Явно, что цензура этого не пропустила б" (Пушкин, т. IV, стр. 602).

В это время вышла „История военных действий в Азиатской Турции“, написанная Н. И. Ушаковым.

В этой книге воспевался Паскевич и вскользь упоминался покровительствуемый им Пушкин.

В конце мая Пушкин написал Ушакову письмо, которое я воспроизвожу без традиционных скобок, потому что сохранился только черновик, а посланное письмо скобок и помарок не имело.

„Возвратясь из Москвы имел я честь получить вашу книгу и с жадностью ее прочел. Это одна из самых красноречивейших, которые когда-либо были написаны.

Не берусь судить о ней, как о произведении ученого военного человека, но восхищаюсь ее ясным, красноречивым и живописным изложением.

Отныне великое имя покорителя Эривани, Арзрума etc соединено будет с именем его блестящего историка.

С изумлением увидел я, что вы и мне даровали бессмертие одною чертою вашего пера.

Эта черта дороже мне всевозможных триумфов. Вы пустили меня в храм Славы, как некогда граф Эриванский позволил мне въехать вслед за ним в завоеванный Арзрум“ (Переписка, т. III, стр. 327).

Письмо не сопровождалось, очевидно, посылкой номера „Современника“, который к тому времени

уже вышел, содержа в себе „Путешествие в Арзрум“.

Ту самую вещь, которой так добивались от Пушкина.

Писать пришлось, потому что за границей была напечатана книга дипломатического агента Фонтанье, в которой, как на это указал Юрий Тынянов, ясно намекалось на то, что Пушкин написал сатиру на Арзрумский поход.

Нужно было отчитываться. Пушкин написал книгу холодную и неожиданную. В ней упоминались опальный Ермолов и декабристы,—правда, скрытые в тексте „Современника“ под прозрачными инициалами, но „алфавит“ декабристов был всем слишком хорошо известен.

Есть в „Путешествии в Арзрум“ и не холодные места.

Там настоящая ирония в описании русского Кавказа, Кавказа коллежских асессоров.

Есть там поэзия в описании природы, и еще там есть развернутая статья о положении писателя.

Пушкин и тут остался верным старому своему обыкновению — писать в конце концов то, что он решил, а не то, что решили за него.

Пушкин, глядя через узкую Мойку на новенький монумент, тогда еще не заставленный домами, думал о судьбе писателя.

„Путешествие в Арзрум“ начиналось предисловием, в котором говорилось об упреках за молчание, потом в вещь входил большой и с горечью написанный эпизод о встрече Пушкина с телом Грибоедова.

Этот эпизод занимает три страницы.

Кончается он завистью к смерти.

Пушкин пишет:

„Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна“ (Пушкин, т. IV, стр. 543).

Тема о положении писателя развертывается дальше. Пушкин в Арзруме.

„Улицы города тесны и кривы. Дома довольно высоки. Народу множество — лавки были заперты. Пробыв в городе часа с два, я возвратился в лагерь: сераскир и четверо пашей, взятые в плен, находились уже тут. Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостию говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. П<ущин> дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит на равне с властелинами земли и ему поклоняются“.

„... Выходя из его (сераскира — В. Ш.) палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (oultre) за плечами. Он кричал во всё горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали“ (Пушкин, т. IV, стр. 562—563).

Вещь заканчивалась так:

„У П<ущина> на столе нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух. П<ущин> остановил меня, требуя чтоб я читал с большим мимическим искусством. Надобно знать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики: это был разговор между дьячком, просвирней и корректором типографии, Здравомыслом этой маленькой комедии. Требование П<ущина> показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца.“

Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве“ (Пушкин, т. IV, стр. 571).

Пушкин продолжал писать.

Он писал статью о Радищеве, вряд ли не автобиографическую во многих ее чертах.

Пушкин вспоминает о смелости Радищева.

Он говорит, что видит в нем „политического фанатика, заблуждающегося конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью“ (Пушкин, т. V, стр. 246),

Он удивляется мужеству одинокого Радищева.

Так одинок был Пушкин, не введенный декабристами в их круг.

Память о Радищеве для Пушкина — это память об оде „Вольность“.

Воображаемый разговор с Александром кончался тем, что Александр посылал Пушкина в Сибирь, и там он писал „Ермака“ с рифмами.

Это опять сопоставление с Радищевым, который написал в Сибири „Ермака“ без рифм.

В статье, которой так и не удалось напечатать Пушкину, как он ни хитрил с цензурой, снова вспоминаются стихи Радищева.

Многое в статье написано Пушкиным о себе.

Пушкин тех лет не был моложав, его лицо было уже несколько одутловато.

Пушкин пишет о Радищеве, который был смирен опытностью и годами:

„Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве характера. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом или с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и молодое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют“ (Пушкин, т. V, стр. 248).

Но вдохновение открывает сердце, ранит его совестью и требованиями самими высокими.

Временами думал Пушкин, описывая смерть Радищева, о самоубийстве.

Его привязывали все короче и короче.

Но вдохновенье возвращало сердцу гордость.

И вот Пушкин тогда, имея перед глазами памятник Александру и Николаю, вспомнил оду „Вольность“, Радищева и написал свой „Памятник“, связанный с одой Горация латинским эпиграфом, данным с ошибкой, и безошибочно связанный с Радищевым.¹

Он написал:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрійского столпа.

Написал дальше:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я Свободу
И милосердие воспел.

„Свобода“ — это ода „Вольность“.
Пушкин снова спорил с Александром.

Что переживал сам Пушкин в это время — видно из его стихотворения „Полководец“.

Он описывает в стихотворении галерею героев двенадцатого года.

... Но в сей толпе суровой
Один меня влечет всех больше. С думой новой
Всегда остановлюсь пред ним, и не сжожу
С него моих очей. Чем долее гляжу,
Тем более томим я грустию тяжелой.
Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Там грусть великая. Кругом — густая мгла.
За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,

¹ О совпадении во времени „Памятника“ со статьей „Александр Радищев“ первым написал Б. В. Томашевский.

Оз, кажется, глядит с презрительною думой.
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье,—
Но Доу дал ему такое выраженье...
... Там устарелый вожь, как ратник молодой,
Свинца веселый свист слышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти,—
Вотще!—

(Пушкин, т. II, стр. 226.)

Здесь говорится не столько о портрете, сколько
о художнике, обнажающем свою мысль.

О ГИБЕЛИ ПОЭТА

Пушкина привязывали все короче и короче.
Исполнились пророчества князя Вяземского о собаке Хемницера.

Пушкин грыз свои узы.

Он мечтал о дуэли, связанной с оглаской, как о способе быть высланным.

Дорога прямо на восток, в страну, где Радищев писал своего „Ермака“, перестала его пугать.

Точных обстоятельств смерти Пушкина не знали, но было ощущение, что совершается преступление.

Доктор Станислав Моравский писал:

„Все население Петербурга, а в особенности чернь и мужичье, волнуясь, как в конвульсиях, страстно жаждало отомстить Дантесу. Никто от мала до велика не желал согласиться, что Дантес не был убийцей. Хотели расправиться даже с хирургами, которые лечили Пушкина, доказывая, что тут заговор и измена, что один иностранец ранил Пушкина, а другим иностранцам поручили его лечить“.

Арендт был придворным доктором.

К гробу в один день пришли 32 000 человек.

Оказалось, что благоразумный Вяземский не прав.

На мельнице, на которой молился Пушкин, не было бога, но там был ветер.

Вяземский был не прав, в стране существовало общественное мнение.

Оно не могло спасти Пушкина, но оно было грозно.

Тургенев писал:

„Вчера народ так толпился — исключая аристократов, коих не было ни у гроба, ни во время страданий, что полиция не хотела чтобы отпевали в Исаакиевском соборе, а приказала вынести тело в полночь в Конюшенную церковь“.

Тело перенесли ночью, тайно.

Гроб был окружен жандармами.

Жандармы писали, что можно ждать „как бы народное изъятие скорби о смерти Пушкина, которое представит неприличную картину торжества либералистов“. Из Конюшенной церкви гроб ночью был отправлен в село Михайловское.

Жуковский в „Современнике“ писал:

„3-го февраля в 10 часов вечера собрались мы в последний раз к тому, что еще осталось для нас от Пушкина; отпели последнюю панихиду; ящик с гробом поставили на сани; в полночь сани тронулись; при свете месяца я провожал их несколько времени глазами; скоро они поворотили за угол дома; и все, что было на земле Пушкин, навсегда пропало из глаз моих“.

Перед гробом скакал жандармский капитан.

Труп был похищен у славы.

Цензор Никитенко записал в своем дневнике 12 февраля 1837 г.:

„Жена моя возвращалась из Могилева и на одной станции, неподалеку от Петербурга, увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожею. Три жандарма суеились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом.“

— Что это такое? — спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян.

— А бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит — и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости господи — как собаку“.

Зимние дороги — дороги прямые. Они идут через занесенные озера, проходят через леса.

Тело увозили от славы.

Псковским властям было сообщено:

„Тело Пушкина везут в Псковскую губернию для предания земле в имении его отца. — Я просил г. Яхонтова передать вам по сему случаю поручение графа, но вместе с тем имею честь сообщить вашему превосходительству волю государя императора, чтобы вы воспретили всякое особенное изъятие, всякую встречу, одним словом всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина. К сему не излишним считаю, что отпевание тела уже совершено“.

Могилу копали ночью.

Тело было зарыто на рассвете.

Через год безымянный человек, вероятно, Вяземский, писал в „Современнике“ статью „О литературных утратах“.

П. Вяземский по-своему любил Пушкина, но у него был свой счет утрат. Он говорил о том, что десять лет тому назад умер Карамзин. Он говорил о Карамзине долго.

Потом он писал: „Дмитриев, товарищ и друг Карамзина по литературе и жизни, пережил его десятилетие. Известие о кончине Дмитриева произвело на нас другое чувство, хотя не менее горестное“.

Почти в конце статьи написано:

„Между этими двумя мужами, полными лет и трудов, в прошлом году положили мы безвременного юношу“.

Имя юноши не названо.

Статья полна искреннего горя и непонимания.

Те люди, которые пытаются сделать Пушкина только братом своего брата, только веселым гостем Тригорского, только другом Вульфа, довершают невольное дело людей, похитивших тело поэта.

П. Вяземский был лучше их, потому что душа его „измеряла пространства, отделяющие великого поэта от его последователей“.

О месте погребения Пушкина Вяземский говорит почти с удовлетворением; оно приближало поэта

к человеку, который так долго учил его благозумию. Вяземский пишет:

„Может быть, и долго нам суждено переноситься мыслию к тихому пристанищу, где он почит, совлекийся житейских помышлений, а мы сетуем, не умея расстаться с несбывшимся ожиданием. Во всяком случае, место вечного его успокоения умирительно для нас“.

Но голос правды прорывается через спокойное описание. Статья кончается так:

„...По дороге от Новоржева (Псков. г.), верст за тридцать пять до Опочки, из-за холмов показывается скромный, тонкий шпиц колокольни Святогорского монастыря, не обширного, но картинно расположенного на горе. Высшая точка ее в древности носила наименование Синичьей горы. Тут стоит каменная церковь Успения божией матери. Два входа устроены, чтобы из монастыря подняться до церкви. Один состоит из больших булыжных кругляков, красиво складенных. Из них даже образованы стены, коих верхняя часть достроена из досок. Над этим входом не так давно поставлена крыша. По стенам проделаны окна, которые, как развешенные пейзажи, представляют проходящему прелестные виды на обе стороны. Другой вход, подобный первому, осенен не искусственным навесом, но древесными ветвями. Старинная небольшая церковь красива своей простотой. Ее иконостас поднимается до самого купола. За церковью, перед алтарем, представляется площадка шагов в двадцать пять по одному направлению и около десяти по другому. Она похожа на крутой обрыв. Вокруг этого места растут старые липы и другие деревья, закрывая собою вид на окрестности. Перед жертвенником есть небольшая насыпь земли, возвышающаяся над уровнем с четверть аршина. Она уложена дерном. Посредине водружен черный крест, на котором из белых букв складывается имя:

ПУШКИН.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	5
Ода „Вольность“	9
Окружение Пушкина	21
„Семейственный“—исторический роман и отход от него . .	26
О пушкинском методе описания	42
Светская повесть	53
Отход от семейственного романа	75
„Дубровский“	82
Вступление к главам о „Капитанской дочке“	88
О „Капитанской дочке“	91
Варианты повести „Капитанская дочка“ и что за ними лежит	94
Белогорская крепость и ее комендант	107
Пугачев и пугачевцы в „Капитанской дочке“	112
О судьбе писателя	131
О гибели поэта	140

Ч И Т А Т Е Л Ы

Издательство просит сообщить отзыв об этой книге, указав ваш точный адрес, профессию и возраст. Просьба к библиотечным работникам организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов о ней. Все отзывы и материалы направлять по адресу: Москва, 9, Большой Гнездиковский пер., д. 10, издательство „Советский писатель“.